

ВРЕМЯ ИДЕИ 91 1986

АМЕРИКА ПРИ КОММУНИЗМЕ



ВЛАДИМИР МАТЛИН "УПЛОТНЕНИЕ"

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Двенадцатый год издания

Выходит один раз
в два месяца

91
1986

НЬЮ-ЙОРК — ИЕРУСАЛИМ — ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" — 1986

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ИЛЬЯ СУСЛОВ
АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН	ДОРА ШТУРМАН
ЛЕВ НАВРОЗОВ	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН	ЕФИМ ЭТКИНД

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800
PUTEAUX, FRANCE

Представитель журнала Juscwa Mischijew
в Западном Берлине Amsterdamerstr. 14
1000 Berlin 65

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Рэймонд ЧАНДЛЕР
Беда — мое ремесло (в переводе И.Шамира) 5
Владимир МАТЛИН
Уплотнение. 82

ПОЭЗИЯ

Михаил КРЕПС
Время остановилось 96
А. ЧЕРНОВ
Я слушал снег. 106

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТИКА

Вера ВИРЕН-ГАРЧИНСКАЯ
Социологический опрос в Москве. 114
Борис ПАРАМОНОВ
Маргаретт Митчелл и "русский ренессанс". 125
КТО ВИНОВАТ?
Читатели о романе Григория Свирского "Прорыв". 140

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Питер РЕДДАВЭЙ
Советская политика, диссиденты и эмиграция. 155
Интервью ведет Борис Шрагин
Илья СУСЛОВ
О цензуре, "Клубе 12-ти стульев" и многом другом 167
Из цикла "Беседы в изгнании" профессора Джона Гледа

В МИРЕ КНИГ

ПОЗИЦИЯ ИЗДАТЕЛЯ
По страницам журналов "22" и "Синтаксис". 181

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Яэль ДАЯН
Последние два года. 194

РЕЗОНАНС

ИЗВИНИТЕ ЗА ДОНОС
Вокруг статьи С.Хмельницкого "Из чрева китова". 218

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Внутренний мир художника. 238



Рэймонд ЧАНДЛЕР

БЕДА — МОЕ РЕМЕСЛО

Перевел с английского Израэль ШАМИР

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Я выехал из Лос-Анджелеса и полетел по супершоссе, объезжая стороной Оушнсайд. У меня было время собраться с мыслями.

Меж Сан Онофре и Оушнсайдом лежали 28 километров разделенного на шесть полос супершоссе, испещренного останками разбитых, брошенных и ободранных машин, лежавших и ржавевших у обочины, пока их не отбуксируют на слом. Я задумался, почему я, собственно, еду обратно в Эсмеральду. Дело это пошло вкривь и вкось, и, вообще, это было не мое дело.

Обычно частному детективу достается клиент, который хочет за слишком мало денег получить слишком много информации. Ты получаешь информацию или нет, в зависимости от обстоятельств. То же самое и с гонораром. Но иногда ты получаешь информацию и слишком много прочего, включая рассказ о покойнике на балконе, которого там не оказалось. Здравый смысл говорит: иди домой и забудь об этом — на вара с этого нет. Здравый смысл обычно вмешивается слиш-

Окончание. Начало см. № 90.

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

© "Время и Мы"

ISSN 0737 7061

ком поздно. Здравый смысл — это парень, который говорит тебе, что ты должен был сменить тормозные колодки на прошлой неделе, до вчерашней аварии. Здравый смысл — это полузащитник в понедельник утром, который привел бы к победе в воскресенье, если бы он был в составе сборной. Но он никогда не бывает в ее составе, а стоит на трибуне с поллитрой в кармане. Здравый смысл — это маленький человечек в сером костюме, который никогда не сбивается со счета. Но он обычно считает чужие деньги.

На повороте я нырнул в каньон и оказался у "Ранчо Дескансадо". Джек и Люсиль были на своих обычных местах. Я опустил чемодан и навалился на конторку.

— Денег, что я оставил, хватило?

— Да, спасибо, — сказал Джек. — Вы, наверно, хотите снова тот же номер.

— Если можно.

— Почему вы не сказали нам, что вы детектив?

— Ну, что за странный вопрос, — я ухмыльнулся. — Разве детектив говорит, что он детектив? Вы же телевизор смотрите, а?

— Когда доводится. Нечасто.

— По телевизору всегда можно узнать детектива. Он никогда не снимает шляпы. Что вы знаете о Ларри Митчелле?

— Ничего, — сказал Джек формально. — Он друг Брандона. М-р Брандон — хозяин этого отеля.

Люсиль сказала лучезарно:

— Вы тогда нашли Джо Хармса?

— Да, спасибо.

— И вы...

— Угу.

— Застегни рот, подружка, — сказал Джек лаконично. Он подмигнул и паснул мне ключ. — У Люсиль скучная жизнь, м-р Марлоу. Она застряла здесь со мною и коммутатором. И махоньким крохотным бриллиантом на перстне — таким крохотным, что мне было стыдно дарить его. Но что человек может поделаться? Если он любит девушку, он хочет, чтобы это было видно на ее пальчике.

Люсиль протянула левую руку и повернула ее так, что маленький алмаз блеснул.

— Я его ненавижу, — сказала она. — Я ненавижу его, как я ненавижу свет солнца, и лето, и ясные звезды, и полную луну. Вот как я его ненавижу.

— Я подхватил ключ и чемодан и оставил их. Еще немного, и я бы влюбился в самого себя. Я, может, даже подарил бы себе колечко с маленьким, непретенциозным бриллиантом.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Номер 1224 не отвечал. Я положил трубку внутреннего телефона "Касы дель Пониенте" и подошел к конторке портье. Чопорный портье разбирал почту. Они всегда разбирают почту.

— Мисс Мэйфилд остановилась здесь, не так ли?

Он положил письмо в соответствующее отделение и лишь затем ответил:

— Да, сэр. Как прикажете доложить?

— Я знаю, в каком номере она остановилась. Номер не отвечает. Вы ее видали сегодня?

Он несколько внимательнее глянул на меня, но я все же его не завел.

— По-моему, нет, — сказал он и глянул через плечо. — Ее ключа здесь нет. Что-нибудь передать ей?

— Я немного беспокоюсь, — сказал я, — она дурно чувствовала себя вчера вечером. Может, она больна и не может взять трубку? Я ее друг, моя фамилия Марлоу.

Он оглядел меня. Его глаза были полны мудрости. Он зашел за ширму, где была касса, поговорил с кем-то. Он быстро вернулся. Он улыбался.

— Я не думаю, что мисс Мэйфилд больна, м-р Марлоу. Она заказала солидный завтрак себе в номер. И обед. Она несколько раз пользовалась телефоном.

— Большое спасибо, — сказал я. — Передайте ей, пожалуйста, что я заходил и что я позвоню попозже.

— Может быть, она в саду или на берегу. Наш пляж защи-

щен волнорезом. — Он глянул на стенные часы. — Если она там, то наверное, скоро придет. Уже спускается прохлада.

— Спасибо. Я найду позже.

— Главная часть вестибюля была на три ступени выше входной площадки, от которой ее отделял арочный проход. Там отсиживались гости, заядлые сидельцы гостиничных вестибюлей, заклятые завсегдатаи фойе, как правило, старые, как правило, богатые, как правило, ничего не делающие и только пялящиеся на мир своими голодными глазами. Так они прожигали жизнь. Две пожилые дамы с суровыми лицами и пурпурными перманентами боролись с огромной головомкой, выложенной на специальном двуспальном картонном столике. Несколько дальше шла игра в канасту: играли две женщины и двое мужчин. На одной женщине было достаточно ледышек, чтобы остудить пустыню Сахару, и краски — на паровую яхту.

Сигареты у женщин торчали в длинных мундштуках. Мужчины были серыми и усталыми, видимо, от подписывания чеков. Несколько дальше сидели, глядя в окно, молодожены, держась за руки.

На девушке было кольцо из бриллиантов и изумрудов и обручальное кольцо, которого она все время касалась. Она казалась не в фокусе.

Я прошел сквозь бар и покрутился по саду. Затем пошел по тропинке вдоль утеса и без труда нашел место, на которое я смотрел вчера вечером с балкона Бетти Мэйфилд. Я легко нашел это место из-за крутого изгиба берега.

Пляж и маленький, изогнутый волнорез были в ста метрах отсюда. Ступени вели вниз. На песке лежали люди. Одни загорали в купальных костюмах, другие просто сидели на лежаках. С визгом бегали дети. Бетти Мэйфилд на пляже не было.

Я вернулся в гостиницу и уселся в фойе. Закурил. Подошел к газетному киоску и купил вечерку. Я просмотрел и выбросил ее. Походил вокруг конторки. Моя записка по-прежнему лежала в отделении 1224. Я подошел к телефону и вызвал м-ра Митчелла. Ответа не было. К сожалению, м-р Митчелл не отвечает.

За моей спиной раздался голос женщины:

— Портье сказал мне, что вы меня искали, м-р Марлоу" — сказала она. — Вы м-р Марлоу?

Она была свежа, как роза поутру. На ней были темно-зеленые брюки и туфли для верховой езды и зеленая тужурка поверх белой рубашки со свободно висящей косынкой от Пейсли на шее. Лента в ее волосах создавала эффект вольного ветра.

Портье поводил ухом в трех шагах от нас. Я сказал:

— Мисс Мэйфилд?

— Да, я мисс Мэйфилд.

— Моя машина готова. Вы смогли бы сейчас осмотреть этот участок?

Она глянула на часики. "Да-а-а, видимо, да, — сказала она. — Мне скоро нужно переодеться, но — да, ладно.

— Сюда, мисс Мэйфилд.

Она шла рядом. Мы прошли через фойе. Я уже чувствовал себя здесь, как дома.

Бетти Мэйфилд злобно глянула на двух головоломщиков.

— Ненавижу гостиницы, — сказала она. — Вернись сюда через 15 лет и увидишь тех же людей, в тех же креслах.

— Да, мисс Мэйфилд. Знаете ли вы человека по имени Клайд Амни?

Она покачала головой. — Следовало бы мне?

— Эллен Вермильи? Росса Гобла?

Она вновь покачала головой.

— Хотите выпить?

— Спасибо, не сейчас.

Мы вышли из бара и пошли по дорожке к машине. Я придержал дверцу "Олдса", чтобы она могла сесть. Выехал со стоянки и проехал прямо по Гранд стрит в сторону холмов. Она нацепила на нос солнечные очки в блестящей оправе.

— Я нашла чеки, — сказала она. — Вы необычайный сыщик.

Я сунул руку в карман и протянул ей флакон со снотворным.

— Вчера ночью я побаивался за вас, — сказал я. — Я пересчитал таблетки, но сколько было для начала, я не знал. Вы

сказали, что приняли только две. С вас стало бы раскачаться и на пригоршню-другую. Она взяла флакон и сунула его в карман тужурки:

— Я перепила. Алкоголь и барбитураты не идут вместе. Я отключилась. Вот и все.

— Я не был уверен. Чтобы умереть, нужно принять не менее тридцати пяти гранов этого средства, и тогда это занимает несколько часов. Я был в переплете. Пульс и дыхание были в норме, но это ничего не гарантировало. Если бы я вызвал врача, мне пришлось бы многое объяснять. Если вы приняли летальную дозу, оперативники из "Убийств" узнали бы об этом, даже если бы вы выкрутились. Они расследуют попытки к самоубийству. Но если бы я ошибся, вы бы сегодня не ехали со мной. Что бы я тогда стал делать?

— Это — мысль, — сказала она. — Не могу сказать, что меня это безумно беспокоит. Кто эти люди, которых вы упомянули?

— Клайд Амни — адвокат, который нанял меня следить за вами, по указаниям адвокатской конторы из Вашингтона. Эллен Вермильи — его секретарша. Росс Гобл — сыщик из Канзас Сити, который говорит, что ищет Митчелла. — Я описал его.

Ее лицо окаменело:

— Митчелла? Зачем ему нужен Ларри? — Я задержался на углу Четвертой и Гранда: старый хрен в мотоколяске поворачивал налево со скоростью 5 км/час. В Эсмеральде полно такого барахла. — Зачем ему понадобился Ларри Митчелл? — спросила она горько. — Почему все не могут оставить всех в покое?

— Ничего мне не рассказывайте, — сказал я, — только задавайте вопросы, на которые у меня нет ответов. Это помогает моему чувству неполноценности. Я сказал вам, что мое задание окончилось. Почему я здесь? Это понятно. Я целю на эти пять кусков по второму заходу.

— Поверните на углу влево, — сказала она, — мы поедem в горы. Там открывается восхитительный вид. И множество шикарных домов.

— Черт с ними, — сказал я.

— И место тихое, — она вынула сигарету из пачки, прищипленной к козырьку, и прикурила.

— Уже вторая за два дня, — сказал я, — круто вы на них нажимаете. Я сосчитал ваши сигареты прошлой ночью. И спички тоже. Я обшмонал вашу сумочку. Я становлюсь пронырой, когда мне вешают лапшу на уши. Особенно, когда клиент отпадает и оставляет меня держать младенца.

Она повернула голову и посмотрела на меня:

— Это должно быть снотворное и выпивка, — сказала она. — Я была немного не в себе.

— В "Ранчо Дескансадо" вы были в отличной форме. Тверже гвоздей. Мы должны были смыться в Рио и жить в роскоши. Видимо, и в грехе. Все, что мне нужно было сделать, — избавиться от трупа. Что за лажа! Трупа нету.

Она все еще смотрела на меня, но мне надо было следить за дорогой. Я остановился и свернул влево. Я въехал в тупик с ржавеющими трамвайными рельсами.

— Поверните налево, вверх. Внизу гимназия.

— Кто и в кого стрелял?

Она сжала виски краями ладоней.

— Я думаю, кроме меня, было некому. Я, наверно, спятила. Где он?

— Револьвер? Он в целости и сохранности. На всякий случай, если сон станет правдой и мне придется его предъявить.

Мы подымались вверх. Я поставил автомат так, чтобы "Олдс" оставался на третьей скорости. Она посмотрела с интересом. Затем на сидения, покрытые светлой кожей, на приборы щитка.

— Как вы можете себе позволить такую дорогую машину? Вы не так уж много зарабатываете, не так ли?

— Они все дороги в наши дни, даже дешевые. Можно с тем же успехом иметь машину, которая еще и едет к тому же. Я где-то читал, что сыщику нужна простая, незаметная, темная машина на которую не обратят внимания. Этот парень, видимо, никогда не бывал в Л. А. В Л. А., чтобы на тебя обратили внимание, нужно ездить на "мерседесе бенц" телесного

цвета с солнечной площадкой на крыше и с тремя кралями в купальных костюмах.

Она хихикнула.

— И еще, — развивал я тему, — это хорошая реклама. Может, я грезил, что я поеду в Рио. Я мог бы продать ее там дороже, чем здесь она обошлась мне новая. На грузовом судне перевезти не накладно.

Она вздохнула:

— Ох, хватит язвить. Мне не так-то весело сегодня.

— Видали своего дружка?

Она застыла.

— Ларри?

— У вас есть и другие?

— Вы-вы могли иметь в виду Кларка Брандона, хотя я с ним едва знакома. Ларри был очень пьян вчера вечером. Нет, я не видела его. Видимо, он отсыпается.

— Он не отвечает на звонки.

Дорога раздваивалась. Белая линия пошла налево. Я поехал прямо, без всякой причины. Мы проехали мимо старых испанских особняков, построенных высоко на горе и нескольких очень современных вилл пониже, с другой стороны. Затем дорога плавно поворачивала направо. Покрытие казалось новым. Дорога шла к мысу и тут же завершалась широким кольцом. Друг против друга, с двух сторон кольца, стояли два больших особняка. Их украшали тонны керамики, а выходящие на море окна сверкали зеленым стеклом. Вид был потрясающий. Я смотрел, не отрываясь, целых три секунды. Затем остановился у обочины и вырубил мотор. Мы были на высоте 300 метров. Весь город раскинулся перед нами как на аэрофотоснимке, под 45°.

— Может, он болен, — сказал я. — Может, он вышел. Может, он умер.

— Я уже сказала... — Ее трясло. Я взял у нее из рук окурки и положил в пепельницу. Поднял стекла машины и положил руку ей на плечи, притянул ее голову и положил себе на плечо. Она расслабилась, не сопротивлялась, но по-прежнему дрожала.

— С тобой удобно, — сказала она, — но не торопи меня.

— В бардачке пол-литра. Хочешь глоток?

— Да.

Я достал бутылку и исхитрился сорвать железный поясок пробки одной рукой и зубами. Я держал бутылку между коленей и свинтил колпачок. Поднес горлышко к ее губам. Она глотнула, ее передернуло. Я завинтил колпачок и убрал бутылку подальше.

— Терпеть не могу пить из горла, — сказала она.

— Угу. Изыску в этом нет. Я не клеюсь, Бетти. Я беспокоюсь. Что я могу для тебя сделать?

Она помолчала секунду. Затем сказала уверенным голосом:

— Что сделать? Можешь взять себе эти чеки. Они были твои. Я их тебе отдала.

— Никто никому не дает пять кусков просто так. Такого не бывает. Поэтому я вернулся сегодня из Л.А. Я приехал сюда рано утром. Никто не увивается вокруг типа вроде меня, не обещает полмиллиона долларов, не предлагает поездку в Рио и домашний очаг со всеми удобствами. Никакая женщина с пьяных или трезвых глаз не сделает это, только потому, что ей померещился мертвец на балконе и, пожалуйста, скорее приходите и швырните его в океан. Что ты от меня ожидала, что я подержу тебя за руку, пока ты спишь и видишь сны?

Она отшатнулась, забилась в уголок сидения.

— Хорошо. Я солгала. Я всегда была отчаянной вруньюей.

Мой взгляд скользнул по зеркалу над рулем. Мелкая темная машинешка вывернула на дорогу за нами и остановилась. Я не мог разглядеть водителя. Затем она резко развернулась и укатила тем же путем, что и приехала. Кто-то, видимо, сбился с дороги и случайно заехал в тупик.

— Пока я полз наверх по этой чертовой лестнице, — продолжал я, — ты накачалась снотворным и притворилась ах такой безумно сонной, а затем со временем и впрямь уснула, я полагаю. Хорошо, я вышел на балкон. Ни трупа, ни крови. Если б он был, я смог бы перепихнуть его через ограждение — трудно, но возможно, если знаешь, как взяться. Но

шесть дрессированных слонов не смогли бы добросить труп до океана. До забора около 12 метров, а по крайней мере, через забор его нужно было перекинуть. Думаю, что такой тяжелый предмет надо было бы бросить метров на 15-16 вперед, чтобы он перелетел через забор.

— Я уже сказала: я солгала.

— Но не сказала, почему. Поговорим серьезно. Предположим, на балконе был мертвец. Что ты хотела, чтобы я сделал? Отнес его вниз по черной лестнице в свою машину, отвез в лес подальше и закопал? Все-таки нужно доверять людям, когда вокруг валяются трупы.

— Ты взял у меня деньги, — сказала она без выражения, — ты мне подыгрывал.

— Чтобы узнать, кто из нас спятил.

— Ты узнал. Радуйся.

— Ничего я не узнал — даже кто ты, я не знаю.

Она рассердилась:

— Я же говорю, что была не в своем уме, — сказала она быстро. — Забота, страх, виски, снотворное... Почему ты не оставишь меня в покое? Я уже сказала — возьми обратно эти деньги. Что тебе еще надобно?

— Что я должен сделать за это?

— Просто возьми, — она зарычала на меня. — Взял и пошел, пошел куда подальше.

— Я думаю, тебе нужен хороший адвокат.

— Внутреннее противоречие, — усмехнулась она. — Был бы хорошим, не стал бы адвокатом.

— Ага. Горький опыт по этой линии. Ты мне еще расскажешь, или я сам докопаюсь со временем. Но я говорю на полном серьезе. Ты в беде. Не говоря уж о том, что было-не было с Митчеллом, тебе стоит нанять адвоката. Ты сменила имя. Видимо, тому был резон. Митчелл тебя шантажировал. И у него был резон. Юридическая фирма из Вашингтона ищет тебя — и у них есть резон. И у их клиента был резон натравить их на твой след.

Я смолк и оглядел ее, как мог, — в ранних, сгущающихся сумерках. Океан внизу голубел свежим ультрамарином, ко-

торый почему-то не напомнил мне глаз мисс Вермильи. Стая чаек полетела на юг плотной массой, но истребители летят теснее над северным островом. Вечерний рейс из Л.А. прошел над побережьем, с огнями справа и слева по борту; затем загорелась мигалка под фюзеляжем и самолет повернул к морю для долгого, ленивого поворота, выруливая на аэродром Линдберга.

— Значит, ты просто наводчик для жулика-адвоката, — сказала она обидно и схватила еще одну из моих сигарет.

— Не думаю, что он большой жулик. Он просто слишком усердствует. Но не в этом дело. Можно отдать ему несколько долларов без вопля. Дело в так называемой привилегии. У частного детектива нет привилегии защищать клиента от полиции и закона, а у адвоката есть. Если адвокат нанял детектива в интересах своего клиента, тогда и у детектива есть привилегия.

— Знаешь, куда ты можешь засунуть свою привилегию? — сказала она. — В особенности если этот адвокат нанял тебя шпионить за мной.

Я взял у нее сигарету, затянулся пару раз и отдал ей.

— Хорошо, Бетти. Я тебе ни к чему. Прости, что пытался помочь.

— Медовые речи. Ты говоришь это потому, что надеешься выжать из меня побольше под этим соусом. Ты просто один из этой своры. И твоей проклятой сигареты мне не надо — она выбросила ее в окно. — Отвези меня обратно в отель.

Я вышел из машины и затоптал окурки:

— Нельзя этого делать в холмах Калифорнии, даже зимой.

Я сел в машину, повернул ключ зажигания и нажал на кнопку стартера. Вывел машину, развернулся и поехал обратно к развилке дороги. На развилке — там, где сворачивала белая линия, стояла маленькая машинешка с потушенными огнями. Может, там никого и не было.

Я круто развернул "Олдс" и включил дальний свет фар. Пока я поворачивался, фары залили светом машинешку. Шля-

па поехала на лицо, но недостаточно быстро, чтобы скрыть очки, жирную широкую рожу и оттопыренные уши м-ра Росса Гобла из Канзас Сити.

Фары прошли мимо, и я поехал вниз по спуску с его ленивыми изгибами. Я не знал, куда шла дорога, но все дороги здесь раньше или позже вели к океану. Внизу на развилке я повернул направо и вскоре оказался на бульваре и снова повернул направо. Теперь я ехал назад, к центру Эсмеральды.

Она не сказала ни слова по пути. Когда я остановился у отеля, она живо выскочила из машины.

— Подожди, я схожу за деньгами.

— За нами следили, — сказал я.

— Что? — она замерла на месте, показывая мне свой профиль.

— Мелкая машинешка. Ты его не видела, но мои фары осветили его, когда я развернулся на вершине холма.

— Кто это был? — ее голос напрягся.

— Откуда мне знать? Он зацепил нас здесь, значит, вернется сюда. Может, мент?

Она посмотрела мне в глаза, застыла неподвижно. Она сделала медленный шагок, а затем бросилась на меня, как будто собиралась расцарапать мне рожу. Она схватила меня за руки и попыталась встряхнуть. Ее дыхание вырывалось со свистом.

— Вытащи меня отсюда, вытащи меня отсюда, Христом-Богом умоляю! Куда угодно. Спрячь меня! Дай мне передышку! Место, где за мной не будут следить, охотиться, травить. Он поклялся гнаться за мной до края света, до самого одинокого острова в Тихом океане...

— До вершины высочайшей горы, до глубины безлюдной пустыни, — сказал я. — Кто-то любит цитировать старомодные романы.

Она уронила руки и они повисли мешками по бокам.

— От тебя дождешься сочувствия, как от ростовщика.

— Никуда я тебя не возьму, — сказал я. — Оставайся здесь и встреть беду лицом к лицу.

Я повернулся и сел в машину. Когда я глянул ей вслед, она уже была на полпути к входу в бар и быстро удалялась.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Было бы у меня хоть немного здравого смысла, я бы упаковался, вернулся домой и позабыл бы о ее существовании. Когда она наконец решит, какую роль она играет в каком акте какой пьесы, я, видимо, уже ничего не смогу сделать, разве что влипнуть за приставание к прохожим в общественном месте. Я ждал и курил. Гобл и его маленький грязный шарабан мог въехать на стоянку в любой момент. Он не мог зацепить нас в другом месте, а значит, он следовал за нами, чтобы узнать, куда мы едем.

Он не показывался. Я докурил сигарету, бросил ее за борт и отчалил. На выезде снова увидел его машинешку. Он припарковался против движения у левой обочины. Я поехал дальше, не спеша, чтобы у него шестеренки не полетели от погони.

В миле от отеля был ресторан под названием "Эпикур", с низкой крышей, со стеной из красного кирпича, прикрывавшей его со стороны дороги, и с баром. Вход был сбоку. Я поставил машину и вошел. Рабочий день еще не начался. Бармен судачил с мэтром, мэтр еще не облачился в смокинг. Книга заказов лежала на высокой конторке, она была раскрыта. На более поздний час было много заказов. Пока еще рано.

— Столик найдется, сэр?

В зале было темно, лишь мерцали свечи на столах; низкая перегородка делила зал на две части. Тридцать человек набили бы "Эпикур" битком. Мэтр запихнул меня в уголок и зажег передо мной свечу. Я заказал двойную дозу джина "Гибсон" — Подошел официант и стал убирать прибор с другой стороны стола. Я велел ему оставить прибор на месте — мой друг может подойти. Я изучил меню, размером почти не уступавшее залу. Для удовлетворения любопытства мне бы понадобился карманный фонарик. Это был самый темный кабак в моей жизни. Родную мать за соседним столиком я бы не признал.

Принесли джин. Я мог различить силуэт стакана и догадался о содержимом. Пригубил его — джин был неплох. В этот момент Гобл скользнул в кресло напротив. Насколько я мог его разглядеть, он не изменился после нашей вчерашней встречи. Я продолжал пялиться на меню. Набрать бы им его шрифтом Брайля.

Гобл потянулся за моим стаканом воды со льдом, взял и выпил.

— Как идут дела с бабешкой? — бросил он небрежно.

— Не продвигаются.

— Почему? Чаво вы там на холме делали?

— Я думал пофаловаться. Она была не в настроении. А тебе что? Ты вроде бы искал какого-то Митчелла.

— Забавно и впрямь. Какой-то Митчелл! Ты же сказал, что никогда не слышал о нем?

— С тех пор я услышал о нем. И увидал тоже. Он был пьян. Очень пьян. Его чуть не вышибли из кабака.

— Очень забавно, — сказал Гобл с издевкой. — Как же ты узнал, что это он?

— Потому что его окликнули по имени. Это уже слишком забавно, а?

Он ослабился:

— Я тебе сказал не попадаться мне на пути. Я знаю, кто ты. Я проверил.

Я закурил и выпустил дым ему в лицо:

— Иди зажарь себе тухлое яйцо.

— Круто, а, — он ослабился. — Я у мужиков побольше тебя руки-ноги отрывал.

— Назови двух.

Он наклонился над столом, но тут подошел официант.

— Мне бурбон и простой воды, — сказал Гобл. — Виски из бутылки. В разлив мне и на дух не надо. И не пытайся обмануть. Я узнаю. И воду из бутылки. Вода из крана здесь ужасная.

Официант стоял и смотрел на него.

— Мне еще того же, — сказал я, отталкивая стакан.

— Что сегодня съедобное? — поинтересовался Гобл. — Я с

этими афишами не связываюсь, — ткнул он презрительным пальцем в меню.

— Plat de jour — котлеты рубленые, — обидно сказал официант.

— Фарш с накрахмаленным воротничком, — сказал Гобл. — Пушай будут котлеты.

Официант посмотрел на меня. Я сказал, что меня устраивают котлеты.

Официант ушел. Гобл снова наклонился над столом, сперва быстро оглянувшись по сторонам.

— Твоя везуха окончилась, друг, — сказал он жизнерадостно, — тебе не удалось повернуть это дельце.

— Вот непруха, — сказал я. — Какое дельце?

— Невезуха у тебя, друг. Крутая невезуха. С приливом не рассчитал или что. Аквалангист — один из этих типов с ластами и масками — застрял под скалой.

— Аквалангист застрял под скалой? — холодные липкие мурашки поползли у меня по спине. Когда официант пришел с выпивкой, мне пришлось сдержаться изо всех сил, чтобы не наброситься на свой стакан.

— Очень забавно, друг.

— Скажи это еще раз, и я тебе твои дурацкие очки раздолбаю, — оскалился я.

Он схватил стакан, отпил, попробовал на вкус, взвесил в уме и одобрительно кивнул.

— Я приехал сюда сорвать куш, — рассуждал он вслух, — а не бедокурить. Ежели бедокуришь, куш не сорвешь. Куш сорвешь, если куда не надо нос не суешь. Усек?

— Видимо, совершенно новое ощущение для тебя, — сказал я, — и нос не совать и куш сорвать. Что это была за шуточка про аквалангиста? — я держал голос под контролем, но это требовало усилия.

Он откинулся. Мои глаза стали привыкать к мраку. Я увидел, что эта жирная рожа развлекалась вовсю.

— Просто шуточка, — сказал он. — Не знаю я никаких аквалангистов. Только вчера вечером я научился выговаривать это слово. Все еще не знаю, что это толком. Но дела и без

того идут сикось-накось. Я не могу найти Митчелла.

— Он остановился в гостинице, — я отпил еще немного джина, не слишком. Было не время для кира.

— Я знаю, что он остановился в гостинице, друг; чего я не знаю — где он сейчас. Его нет у себя в номере. Коридорные его не видимши. Я думал, может, бабешка знает, где он.

— Бабешка с приветом, — сказал я, — оставь ее в покое. И в Эсмеральде не говорят "не видимши". Этот канзасский диалект здесь считается нарушением общественных приличий.

— Засунь это себе знаешь куда, Вася. Когда я захочу, чтоб меня поучили говорить правильно, я не пойду за уроками к пошарпанному шпику из Калифорнии.

Он повернул голову и заорал: "Официант!".

Несколько лиц обернулось к нему с неодобрением. Со временем показался официант и застыл рядом с тем же выражением на лице, что и у гостей.

— А ну, шарахни еще одну, — сказал Гобл, тыча пальцем в стакан.

— Не обязательно орать на меня, — сказал официант. Он убрал стакан.

— Если я хочу, чтоб меня обслужили, — Гобл заорал ему вдогонку, — то я хочу, чтобы меня обслужили.

— Надеюсь, древесный спирт придется тебе по вкусу, — сказал я Гоблу.

— Ты да я, мы могли бы спеться, — сказал Гобл безразлично, — если б у тебя были мозги.

— И если бы у меня были манеры и на шесть дюймов больше росту, и другое лицо, и другое имя, и не вел бы ты себя так, будто можешь уложить кучу лягушачьей икры в своем весе на обе лопатки.

— Вяжи мочало, возвращайся к Митчеллу, — сказал он бодро, — и к этой шалаве, которую ты пытался зафаловать на холме.

— Она встретила Митчелла в поезде. Он произвел на нее то же впечатление, что и на меня. Он вызвал у нее острое желание ехать в другую сторону.

Это была пустая трата времени. Он был неуязвим, как мой прапрадед.

— Ага, — ослабился он, — Митчелла она случайно встретила в поезде и невзлюбила, когда узнала поближе. Поэтому она его отшила и переметнулась к тебе. Хорошо, что ты оказался под рукой.

Пришел официант с едой. Он церемониально выставил овощи, салат, горячие булочки в салфетке.

— Кофе?

Я сказал: "Пожалуйста, попозже". Гобл сказал "да" и справился, где его выпивка. Официант ответил: "В пути", — товарной скоростью, судя по тону.

Гобл попробовал котлету и выразил удивление:

— Черт, вкусно? — сказал он, — так мало посетителей, я думал, что это дыра.

— Посмотри на часы, — сказал я, — тут куда позднее начинают шевелиться. Такой это город. Да и сейчас не сезон.

— И впрямь, куда позднее, — сказал он, чавкая, — позднее некуда. В два, три часа ночи. Тогда они навещают друзей. Ты вернулся на "Ранчо", друг?

Я посмотрел на него, ничего не говоря.

— Что мне нужно, картиночку нарисовать, друг, иначе не поймешь? Я работаю допоздна на задании.

Я ничего не сказал.

Он вытер рот.

— Ты вроде напрягся, когда я сказал про аквалангиста под скалой. Или мне показалось?

Я ничего не ответил.

— Ну, хорошо — держи створки вместе, — усмехнулся Гобл. — Я думал, мы вместе можем провернуть одно дельце. У тебя есть хватка и комплекция, но ты ничего ни про что не секаешь. Нет у тебя того, что надо в нашем ремесле. Там, откуда я приехал, без мозгов не пробьешься. А здесь достаточно загореть и забыть застегнуть воротничок.

— Сделай мне предложение, — процедил я.

Он был поспешный едок, несмотря на свою болтовню. Он оттолкнул от себя тарелку, отпил глоток кофе и вытащил зубочистку из жилетного кармана.

— Это богатый город, друг, — сказал он медленно. — Я его

изучил до дыр, я его обсосал. Говорил с мужиками об ем. Мне сказали, что это одно из последних мест в нашей прекрасной зеленой стране, где капуста — это еще не все. В Эсмеральде или ты принят, или ты ничто. Тебя принимают и приглашают нужные люди, если у тебя есть класс. Есть тут один мужик, заработал пять миллионов шухером-мухером у нас в Канзас-сити. Он купил землю, разделил на участки, построил дома, некоторые — из лучших домов города. Но в Бич-клуб его не приняли. Тогда он купил клуб. Они знают, кто он, когда собирают пожертвования, его не обходят, его обслуживают, он платит по счетам, он — солидный член общества, один из отцов города, он устраивает большие приемы, но гости приезжают из других мест, разве что это прилипалы, ни на что не годный мусор, который крутится там, где есть деньги. Но люди с классом? Для них он просто ниггер!

Это был длинный монолог, между делом он поглядывал на меня, озирался по сторонам, удобно откидывался в кресле и ковырял в зубах.

— Небось, ест себя поедом, — сказал я. — Как они провели про его шухер-мухер?

Гобл навис над маленьким столиком.

— Большой босс из Казначейства приезжает сюда в отпуск каждый год. Случайно заметил м-ра Доллара, а он знал всю его подноготную. Он пустил словечко. Думаешь, что у него не гложет сердце? Не знаешь, как всем этим гангстерам в отставке хочется солидности. Он до смерти исходит, друг. Он столкнулся с чем-то, что нельзя купить за наличные, и это его сводит с ума.

— Как же ты его раскопал?

— Я шустрый, я кручусь, друг, я узнал разные вещи.

— Все, кроме одной, — сказала я.

— Чего еще?

— Не поймешь, даже если я скажу.

Подошел официант с задержавшейся выпивкой для Гобла и собрал тарелки. Он предложил меню.

— Я никогда не ем десерта, — сказал Гобл. — Проваливай.

Официант посмотрел на зубочистку и ловко выхватил ее из

пальцев Гобла.

— Туалет налево, кореш, — сказал он. — Он бросил зубочистку в пепельницу и забрал пепельницу.

— Видишь, о чем стук? — Гобл сказал мне. — Класс!

Я попросил у официанта шоколадное мороженое и кофе.

— А этому джентльмену принесите счет, — добавил я.

— С удовольствием, — сказал официант. — Гобл глядел с омерзением.

Официант отплыл. Я наклонился над столиком и тихо заговорил:

— Ты самый большой лгун, которого я встретил за два дня, а я встречал редкие образчики. Я не думаю, что ты интересуешься Митчеллом. Я не думаю, что ты слыхал о нем или видел его, пока вчера тебе не пришла на ум идея отводить им глаза. Тебя послали шпионить за этой бабой, я знаю, кто тебя послал. Я знаю, почему за ней шпионят, и я знаю, как устроить, чтобы за ней не шпионили. Если у тебя есть козыря за пазухой, живо клади их на стол. Завтра будет поздно.

Он оттолкнул стул и встал. Он уронил смятую и сложенную ассигнацию на стол. Он холодно глянул на меня.

— Пасть широкая, а мозги узкие, — сказал он. — Прибереги свои мысли до четверга, когда приезжает мусоровозка. Ты ничо ни про чо не секешь, друг. Я думаю, и не просекешь.

Он вышел, задиристо задрал башку.

Я дотянулся до сложенной и смятой ассигнации, которую Гобл бросил на стол. Как я и представлял себе, это был один доллар. Человек с шарабаном, выжимающим 60 км/час под гору, наверняка привык питаться в таких обжорках, где ужин за 85 центов подают только во время разгула и кутежа в ночь на воскресенье после полочки. Официант подошел и обрушил на меня счет Гобла. Я расплатился и оставил доллар Гобла на чай.

— Этот мужик — ваш близкий друг, а?

— С ударением на "близкий", — сказал я.

— Может, он бедный, — сказал официант великодушно. — Одна из достопримечательностей этого города — люди, которые здесь работают, не могут позволить себе здесь жить.

Когда я вышел, в кабаке было уже человек 20, и их голоса отражались, как мячики, от низкого потолка.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Въезд в гараж выглядел так же, как и в четыре часа утра. Но теперь, спускаясь, я услышал звук текущей воды. В застекленной будке никого не было. Где-то кто-то мыл машину, но, наверно, не вахтер. Я подошел к двери, выходящей на площадку с лифтом, и открыл ее. В будке зажужжал сигнал. Я отпустил дверь и стал в сторонку. Из-за угла вынырнул худой человек в длинном белом халате. На нем были очки, кожа цвета остывшей овсянки, глаза — пустые и усталые. В его лице было что-то монгольское, что-то мексиканское, что-то индейское и что-то более темнокожее. Его черные волосы лежали плашмя на узком черепе.

— Машину, сэр? Ваше имя, сэр?

— Машина м-ра Митчелла здесь? Двухтонный "бьюик" с твердым верхом.

Он не сразу ответил. Его глаза затянула дремота. Ему этот вопрос уже задавали.

— М-р Митчелл взял свою машину рано утром.

— В котором часу?

Его рука пошла к карандашу, торчавшему из кармашка с пришитой пурпурной монограммой отеля. Он вытащил карандаш и посмотрел на него.

— Почти в семь утра. Я ушел в семь.

— Двенадцатичасовая смена? Сейчас только что после семи.

Он положил карандаш обратно в карман.

— Смена восьмичасовая, но со сдвигом.

— А-а. Вчера вы работали с 11 до 7.

— Верно. — Он глядел через мое плечо в невидимую даль. — Мне пора уходить.

Я достал из кармана пачку сигарет. Он покачал головой.

— Мне разрешается курить только в конторе.

— Или на заднем сидении "паккарда".

Его правая рука изогнулась, сжимая рукоять незримого ножа.

— Как со снабжением? Курева хватает?

Он уставился на меня.

— Надо сказать, "какого курева"? — спросил я.

Он не отвечал.

— А я бы сказал тогда, что речь идет не о табаке, — продолжал я жизнерадостно, — а о чем-то с медовым запахом.

Наши глаза встретились. Наконец он спросил тихо:

— Толкач?

— Живо ты сбросил кайф, если в семь утра уже был в фокусе. Я был уверен, что ты и к полудню не очухаешься. У тебя, наверно, будильник в голове, как у Эдди Аркаро.

— Эдди Аркаро? — повторил он. — Да, да, конферансье. У него будильник в голове? Да?

— Так говорят.

— Мы могли бы сторговаться, — сказал он остранинно. — Почему товар?

В будке зажужжал сигнал. Краем сознания я уловил шум лифта. Дверь отворилась и вошла парочка, которая держалась за ручки в вестибюле. Девушка была в вечернем туалете, а на паренке был смокинг. Они стояли рядышком и выглядели, как школьники, которых застукали за поцелуем. Вахтер посмотрел на них, вышел и подал машину — аккуратный новенький "крайслер" с откидным верхом. Паренек усадил девушку осторожно, как будто она уже была беременна. Вахтер придерживал дверцу. Паренек обошел машину, поблагодарил его и сел за руль.

— Далеко ли отсюда до "Аквариума"? — спросил он робко.

— Недалеко, сэр. — Вахтер объяснил им, как туда добраться.

Паренек улыбнулся, поблагодарил его, сунул руку в карман и дал ему доллар.

— Я всегда могу подать вашу машину к парадному подъезду, м-р Престон, только позвоните и скажите.

— Спасибо, и так хорошо, — сказал паренек поспешно. Он осторожно поехал вверх по скату. "Крайслер" исчез, тихо урча.

— Молодожены, — сказал я. — Какие милые. Просто не хотят, чтобы на них пялились.

Вахтер ровно и дремотно смотрел на меня.

— Но в вас нет ничего милого, — добавил я.

— Если мент, — покажи корочки.

— Думаешь, что я мент?

Какой-то любопытный сукин сын — что бы он ни говорил, тон его голоса не менялся — он застыл в си-бемоль. Как бил по одной клавише.

— Да, я такой, — согласился я, — я частный. Прошлой ночью я следил за одним человеком и зашел сюда. Ты сидел в этом "паккарде". Я подошел и открыл дверь; так и перло дурью. Я мог бы угнать четыре "кадиллака", а ты бы и с боку на бок не повернулся. Но это твое дело.

— Назови цену, — сказал он. — О прошлой ночи нет спору.

— Митчелл уехал сам?

Он кивнул.

— Без багажа?

— С девятью чемоданами. Я помог ему погрузиться. Он был окончательно.

— Сверился с портье? Доволен?

— У него был счет с собой. Оплачено и заштемпелевано.

— Конечно. С таким количеством багажа ему должен был помочь коридорный.

— Лифтер. Коридорные приходят в 7.30, а это было около часу ночи.

— Какой лифтер?

— Мексиканец по кличке Чико.

— А ты не мексиканец?

— Я немного китаец, немного гаваец, немного филиппинец и немного ниггер. Ты бы сдох быть мной.

— И еще один вопрос. Как тебе удается не подзалететь? Я имею в виду дурь.

Он огляделся.

— Я курю, только когда я особо в депресе. Какое твое собачье дело? Какое собачье дело кого угодно? Может, меня засекут и выкинут с непыльной работенки. Может, бросят в тюрьму. Может, я был в ней всю жизнь, ношу ее с собой. Тебя устраивает? — он слишком много говорил. Так всегда у людей со слабыми нервами: то односложные ответы, то — поток. Медленный, усталый, ровный голос продолжал:

— Я ни на кого не точу зуб. Я живу. Я ем. Иногда я сплю. Загляни ко мне как-нибудь. Я живу в клоповнике, в старой лачуге, на аллее Полтона, хотя на самом деле это закоулок, а не аллея. Я живу прямо за скобяной лавкой. Туалет во дворе. Я умываюсь на кухне, в жестяном умывальнике. Я сплю на диване с продавленными пружинами. Всею барахлу лет двадцать. Это город для богачей. Приходи, навести меня. Я живу у богачей.

— Только одного не было в твоём поливе про Митчелла, — сказал я.

— Чего еще?

— Правды.

— Ща гляну под диван. Может, она там, только чуток запылилась.

Раздался рокот автомобиля, ползущего вниз по скату. Он отвернулся, я вышел на площадку и нажал на кнопку лифта. Хорош гусь, этот вахтер. Очень странный. Однако занятный, в своем роде. И грустный. Эдакий грустный, потерянный.

Долгое время лифт не приходил. Тем временем мне составили компанию сто восемьдесят сантиметров ладного мужского тела. Кларк Брандон был в кожаной куртке и тяжелой вязки голубом свитере с высоким воротом, в ношенных вельветах от Бедфорда и высоких сапогах со шнуровкой из тех, что носят геологи в непроходимой глуши. Он выглядел, как босс поисковой партии, а через час, я не сомневался, он будет сидеть в "Аквариуме" во фраке и будет и там выглядеть, как босс, да, наверное, и небезосновательно. Масса денег, масса здоровья и масса времени, чтобы насладиться и тем и другим. Куда бы он ни пошел, он везде будет боссом.

Он глянул на меня и уступил мне дорогу при входе в лифт. Парнишка-лифтер уважительно приветствовал его. Он кивнул. Мы оба вышли в вестибюле. Брандон подошел к конторке и получил от портье-новичка — я его раньше не видел — широкую улыбку и ворох писем. Брандон прислонился к конторке и вскрыл конверты один за другим. Он бросал их в урну, стоящую рядом. Туда пошло большинство писем. На конторке стояла стойка с рекламными проспектами. Я взял одну из брошюр, закурил и принялся изучать ее. Брандон нашел письмо, которое

его заинтересовало. Он перечел его несколько раз. Я увидел, что оно было коротким, написанным от руки, на отельном бланке. Это было все, что я смог разглядеть, не заглядывая через плечо. Затем он сунул руку в урну и выудил конверт. Он внимательно рассмотрел его, вложил письмо в конверт и подошел к конторке. Протянул конверт портье.

— Это пришло не по почте. Не заметили, кто его вручил? Я вроде бы не знаю отправителя.

Портье глянул на конверт и кивнул:

— Да, м-р Брандон, это оставили для вас, как только я заступил. Толстяк средних лет в очках, в сером костюме, плаще, серой войлочной шляпе. Нездешний, обрюзгший. Шушера какая-то.

— Он хотел увидеть меня?

— Нет, сэр. Он просто попросил положить письмо в ваше отделение. Что-нибудь не так, м-р Брандон?

— Выглядел как псих?

Клерк покачал головой:

— Он выглядел, как я сказал. Шушера!

Брандон прищелкнул языком:

— Он хочет сделать меня мормонским епископом за 50 долларов. Какой-то придурок, очевидно. — Он взял конверт с конторки и положил его в карман. И уже на ходу бросил: — Ларри Митчелла видал?

— Нет, но я заступил лишь часа два назад, м-р Брандон.

— Спасибо.

Брандон пошел к лифту, вошел в кабинку. Это был другой лифт. Лифтер весь расплылся в улыбке и что-то сказал Брандону. Брандон не ответил ему и даже не глянул в его сторону. Лифтер выглядел уязвленным, когда он захлопнул дверями. Брандон злился. Он был не так хорош собой, когда злился.

Я положил брошюру на место и подошел к конторке. Портье глянул на меня безразлично. Его взгляд говорил, что я не значусь в списке гостей:

— Да, сэр?

Это был хорошо сохранившийся седовласый мужчина.

— Я было собирался спросить м-ра Митчелла, но услышал,

что вы сказали.

— Внутренние телефоны там, — он указал движением головы. — Коммутатор вас соединит.

— Сомневаюсь.

— В чем именно?

Я распахнул пиджак, чтобы вытащить бумажник. И увидел, как глаза портье застыли на круглой рукояти револьвера у меня под мышкой. Я достал бумажник и вытащил визитную карточку.

— Нельзя ли мне встретиться с вашим детективом? Если таковой имеется. Он взял мою карточку и прочел. Затем посмотрел на меня.

— Присядьте, пожалуйста, в вестибюле, м-р Марлоу.

— Благодарю вас.

Он взялся за телефон, не успев я отойти от конторки. Я прошел под аркой и сел у стены, откуда я мог видеть конторку. Мне не пришлось долго ждать.

У него был прямой суровый взгляд, прямое суровое лицо, с такой кожей, которая не загорает, но лишь краснеет, а потом снова бледнеет. Его прическа была почти помпадур, волосы рыжеватоблондинистые. Он стоял в проходе, и глаза его медленно вбирали в себя вестибюль. Его взгляд не задержался на мне ни на секунду. Затем он подошел и сел в кресло рядом. На нем был коричневый костюм и желтая с коричневым бабочка. Костюм элегантно облегал его. На его скулах росли тонкие, светлые волосики. В волосах была элегантная проседь.

— Меня зовут Явонен, — сказал он, не глядя на меня. — Я знаю ваше имя. Ваша карточка у меня. Что вы хотите?

— Я ищу Ларри Митчелла.

— Вы его ищете. Почему?

— Бизнес. Почему бы мне его и не искать?

— Пожалуйста, ищите. Его нет в городе. Он уехал рано утром.

— Я слышал. Это меня озадачило. Он только вчера вернулся домой. На экспрессе из Вашингтона. В Л. А. он взял свою машину и прикатил сюда. У него не было ни копыя. Даже на ужин ему пришлось стрелкнуть. Он ужинал в "Аквариуме" с девушкой.

Здорово напился — или представился пьяным — и таким образом открутился от уплаты счета.

— Мы всегда примем его чек, — сказал Явонен безразлично. — Его глаза мелькали по фойе, как будто он ожидал, что один из игроков в канасту выхватит револьвер и застрелит своего партнера или что старушка за головоломкой кинется рвать волосы у соседки. У него было два выражения — суровое и суровее. — М-р Митчелл хорошо известен в Эсмеральде.

— Хорошо, но не с лучшей стороны, — сказал я.

Он повернул голову и одарил меня блеклым взглядом.

— Я здесь заместитель директора, м-р Марлоу. Кроме этого, я выполняю оперативные функции. Я не могу обсуждать с вами репутацию гостей отеля.

— Это и не нужно. Мне она известна. Из различных источников. Я видел его в действии. Вчера вечером он сорвал с кого-то достаточно, чтобы испариться из города. Взял с собой багаж, по моим данным.

— Откуда у вас эти данные? — сурово спросил он.

Я сурово не ответил ему. "Предлагаю вам три угадки, — сказал я. — Раз: его постель не была расстелена, два: сегодня в администрации сообщили, что его номер пуст. Три: один из ночных дежурных не явится сегодня на работу. Митчелл не мог вытащить все свое барахло без посторонней помощи".

Явонен поглядел на меня, затем снова прощупал фойе глазами.

— Можете доказать то, что написано на карточке? Карточку любой может напечатать. — Я вытащил бумажник, вынул из него маленькую фотокопию своих корочек и передал ему. Он глянул и вернул мне. Я спрятал ее подальше. — У нас — своя организация и методы борьбы со смывающими гостями, — сказал он. — Все же гости иногда смываются из любого отеля. Нам не нужна ваша помощь. И нам не по вкусу пушки в фойе. Портье видел вашу. Любой мог заметить. У нас была попытка грабежа десять месяцев назад. Один из налетчиков умер. Я застрелил его.

— Я читал об этом в газете, — сказал я. — Я потом неделю не спал от страха.

— Вы читали об этом, а мы потеряли 4-5 тысяч долларов потенциального дохода за неделю. Клиенты съезжали пачками. Понятно?

— Я нарочно дал портье заметить рукоятку. Я спрашивал о Митчелле весь день и меня только отшивали. Если человек съехал, почему не сказать об этом? Никто не обязан сообщать мне, что он смылся, не заплатив.

— Никто и не говорит, что он смылся. Он заплатил полностью, м-р Марлоу. И где вы теперь окажетесь?

— В изумлении, почему его отъезд хранится в секрете.

Его лицо приняло презрительное выражение.

— И этого никто не говорит. Вы просто не слушаете внимательно. Я сказал, что он выехал из города по делам. Я сказал, что его счет был полностью оплачен. Я не сказал, сколько багажа он взял с собой. Я не сказал, что он съехал из отеля. Я не сказал, что он взял все, что у него было... Что вы, собственно, пытаетесь сделать из этого?

— Кто заплатил по его счету?

Его лицо побагровело.

— Слышь, парень. Я тебе уже сказал, что он расплатился. Лично. Вчера вечером, полностью, за неделю вперед. Я проявил немало терпения. Сейчас твоя очередь. Куда ты метишь?

— Никуда. Вы меня разубедили. Я просто недоумеваю, почему он заплатил за неделю вперед.

Явонен улыбнулся — слегка. Назовем это задатком за улыбку.

— Смотри, Марлоу, я проработал пять лет в военной разведке. Я могу оценить человека. Например, человека, о котором мы говорим. Он платит вперед, чтобы нам было приятнее. Это оказывает стабилизирующее влияние.

— Раньше он когда-либо платил вперед?

— К чертовой матери...

— Следите за собой, — пресек я его, — пожилой джентльмен с тросточкой интересуется вашими реакциями.

Он посмотрел на другой край фойе, где в очень низком кресле с круглой спинкой сидел худой бескровный старик. Его подбородок покоился на руках в перчатках, а руки в перчатках на крюке трости. Старик смотрел, не мигая, в нашу сторону.

— А, этот, — сказал Явонен. — Так далеко он не видит. Ему за восемьдесят .

Он встал и посмотрел на меня. "Хорошо", — сказал он тихо, — вы частный детектив, у вас есть клиент и инструкции. Я стараюсь только заботиться об интересах отеля. Оставьте пушку дома в следующий раз. Будут вопросы — обратитесь ко мне. Не приставайте к прислуге. Все равно дойдет до меня. Иначе пойдут слухи, а нам это ни к чему. Местная полиция окажется не слишком дружелюбной, если я намекну, что вы нас беспокоите.

— Можно выпить в баре перед уходом?

— Держите пиджак застегнутым на все пуговицы.

— Пять лет в военной разведке — это ценный опыт, — сказал я, глядя на него, лучась восхищением.

— Должно быть, достаточно, — он коротко кивнул и зашагал под арку, прямая спина, грудь вперед, плечи назад, подбородок убран, суровый, поджарый, хорошо отлаженный человеческий механизм. Мастер своего дела. Он расколол меня в глухую, докопался до всего, что было написано на моей визитной карточке.

Тут я заметил, что старичок в низком кресле поднял руку в перчатке с рукояти трости и изогнул палец в мою сторону. Я вопрошающе ткнул себе пальцем в грудь. Он кивнул, и я подошел к нему.

Он был и впрямь стар, но совсем не сенилен и не дряхл. Его белые волосы были аккуратно расчесаны на пробор, нос у него был длинный, острый, изборожденный венами, его выцветшие голубые глаза смотрели ясно, но веки утомленно нависали над ними. В одном ухе торчала пуговица слухового аппарата, серовато-розовая, как и ухо. На руках были замшевые перчатки с отворотами, а над полированными черными туфлями серые гамаша. "Придвиньте себе стул, молодой человек". Его голос был сухой и тонкий и шелестел, как листья бамбука.

Я сел подле него. Он прищурился и улыбнулся одним ртом. — Наш почтенный м-р Явонен прослужил пять лет в военной разведке, как он, несомненно, сообщил вам.

— Да, сэр. Глаза и мозг армии.

— Мозг армии — выражение, которое содержит внутреннее противоречие. Итак, вам хотелось узнать, как м-р Митчелл заплатил по счету? — Я уставился на него. Посмотрел на слуховой прибор. Он постучал по своему нагрудному карману. — Я оглох задолго до того, как изобрели эти штуки. На охоте конь отказался взять препятствие. Я сам во всем виноват — слишком рано поднял его на дыбы. Я был еще молод, не мог представить себе жизнь со слуховым рожком и научился читать по губам. Это требует упражнений и привычки.

— Что насчет Митчелла, сэр?

— Дойдем и до него. Не торопитесь. Он поднял глаза и кивнул.

Голос сказал: — Добрый вечер, м-р Кларендон. Лифтер прошел к бару. Кларендон проследил за ним глазами.

— С этим не утруждайте себя, — сказал он, — сутенер. Я провел много лет в фойе, вестибюлях, барах, террасах и садах всевозможных отелей. Я пережил всех своих родных. И буду тянуть свое бесполезное любопытствующее существование, пока не наступит день, когда меня отнесут на носилках в угловую удобную и просторную палату в больнице. Накрахмаленные белые драконы будут служить мне. Постель будет застелена и снова расстелена. Принесут подносы с этой кошмарной безразличной больничной едой. Мой пульс и температуру будут мерить часто и регулярно, и неизменно как раз, когда я буду засыпать. Я буду лежать там и слышать шелест накрахмаленных юбок, шорох каучуковых подошв по асептическому полу и лицезреть безмолвный ужас улыбки врача. А затем надо мной соорудят кислородную палатку и окружат мою маленькую белую кровать ширмами, и я займусь, даже не замечая, единственным делом на свете, которое нельзя сделать дважды. — Он медленно повернул голову и посмотрел на меня. — Очевидно, я слишком болтлив. Ваше имя, сэр?"

— Филип Марлоу.

— Я — Генри Кларендон IV. Я принадлежу к тому, что когда-то именовали правящим классом. Гроттон, Гарвард, Гей-

дельберг, Сорбонна. Я даже провел год в Уппсале, не могу вспомнить, почему. Чтобы подготовиться к жизни, полной безделья, несомненно. Итак, вы частный детектив. Я иногда говорю и не только с самим собой, понимаете.

— Да, сэр.

— Вы должны были обратиться ко мне за информацией. Но конечно, откуда вам было это знать. — Я закурил, предложив сперва сигарету м-ру Генри Кларендону IV. Он отклонил ее туманным кивком головы. — Однако, м-р Марлоу, это вы наверняка должны знать. В любом дорогом отеле в мире найдется полдюжины престарелых бездельников и бездельниц, которые только сидят и пялятся вокруг, как филины. Они внимательно следят, прислушиваются, сопоставляют свои наблюдения, они знают все обо всем. Больше им нечего делать, потому что жизнь в отелях — это самая смертельная форма скуки. И несомненно я нагоняю на вас скуку в неменьшей степени.

— Мне бы лучше насчет м-ра Митчелла, сэр. Сегодня, по крайней мере, м-р Кларендон.

— Конечно. Я эгоцентрик, абсурден, болтаю как школьница. Вы заметили эту красивую темноволосую женщину, играющую там в канасту? На которой слишком много финтифлюшек и очки в тяжелой золотой оправе?

Он не указал и даже не глянул в ее сторону, но я сразу понял, о ком идет речь — она выглядела гротескно и немного грубо. Это она и была с льдышками и краской.

— Ее имя Марго Уэст. Семь раз разведена. Куча денег и вполне сносная внешность, но мужчины у нее не удерживаются. Она слишком старается. Но все же не дура. Она может позволить себе приключение с человеком вроде Митчелла, она даст ему денег, заплатит по его счетам, но не выйдет за него замуж. Они поссорились вчера вечером. Тем не менее, я думаю, что она могла заплатить по его счету. Она много раз платила за него.

— Я думал, что он получал чек от своего отца, из Торонто, каждый месяц. Не хватало ему, а?

Генри Кларендон IV саркастически усмехнулся:

— Мой милый друг, у Митчелла нет отца в Торонто. Он не получает чек каждый месяц. Он живет за счет женщин. Поэтому он живет в отелях вроде этого. В роскошных отелях вроде этого всегда найдется какая-нибудь богатая и одинокая дама, может, не очень красивая, не очень молодая, но зато с другими прелестями. Во время мертвого сезона в Эсмеральде, то есть после скачек в Дель Мар и до середины января, удой слаб. Тогда Митчелл вострит лыжи — на Майорку или в Швейцарию, если он может себе это позволить, во Флориду или на Карибские острова, если казна не тянет. В этом году удача отвернулась от него. Насколько мне известно, он добрался только до Вашингтона.

Он быстро глянул на меня. Я оставался вежлив и учтив и невозмутим: приятный молодой (по его мерке) человек вежливо внимает старому джентльмену, который любит поговорить.

— Хорошо, — сказал я, — она заплатила по счету в отеле — предположим. Но почему за неделю вперед?

Он положил одну руку в перчатке на другую. Трость качнулась, и он качнулся вслед за ней всем телом. Он внимательно рассмотрел узор на ковре. Наконец он щелкнул челюстями. Решил задачу и выпрямился снова.

— Вместо предупреждения об увольнении, — сухо сказал он. — Окончательный и бесповоротный финал их романа. С м-с Уэст, как говорят, было довольно. Кроме этого, вчера Митчелл сопровождал новое лицо, девушку с темно-рыжими волосами. Каштаново-рыжими, не огненно-рыжими. Их отношения показались мне несколько странными. Они были в заметном напряжении.

Стал бы Митчелл шантажировать женщину?

Он хихикнул.

— Он шантажировал бы младенца в колыбели. Человек, который живет за счет женщин, всегда шантажирует их, хотя это слово, может быть, и не идет в ход. Он также крадет у них, если может добраться до их денег. Митчелл подделал два чека Марго Уэст. Это и доконало их роман. Несомненно она сохранила чеки. Но она не пустит их в ход, только сохранит их.

— М-р Кларендон, при всем моем уважении, как, ко всем чертям, вы могли это узнать?

— Она рассказала мне. Она плакала на моем плече. — Он посмотрел в сторону этой красивой темноволосой женщины. Она так не выглядит в настоящий момент. Тем не менее это правда.

— Почему вы это рассказываете мне?

Его лицо исказила довольно гнусная ухмылка:

— Я не деликатен. Я бы сам хотел жениться на Марго Уэст. Это сбило бы схему. Любые мелочи забавляют человека в моем возрасте. Поющая пташка, открывающийся бутон стрелиции. Почему в определенный момент бутон открывается настезь? Почему он так постепенно раскрывает свои лепестки? Почему цветы всегда появляются в определенном порядке, так, что острый конец бутона выглядит, как клюв птицы, а голубые и оранжевые лепестки превращают его в райскую птичку? Какое странное божество создало такой сложный мир, когда оно могло, видимо, сделать и мир попроще? Всесилен ли Он? Как Он может быть всемогущим? Слишком много страданий и почти всегда страдают невинные. Почему крольчиха, когда ласка прижмет ее в угол, прячет своих крольчат за спиной и позволяет, чтоб ей перегрызли глотку? Почему? Через неделю она даже и не узнала бы их. Вы верите в Бога, молодой человек?

Это казалось долгой околесицей, но выхода не было — мне приходилось следовать.

— Если вы имеете в виду всемогущего и всеведущего Господа, который создал мир таким, каким он хотел его увидеть, — нет.

— Верьте, м-р Марлоу. Это великое утешение. Мы все в конце концов приходим к этому, потому что мы обречены на смерть и обратимся в прах. Для личности это занавес, а может, лишь смена декораций. Загробная жизнь вызывает ряд затруднений. Не думаю, что я был бы в восторге в раю, рядом с пигмеем из Конго, или китайским кули, или левантийским торговцем ковров, или даже с голливудским продюсером. Я сноб, я полагаю, и это замечание — дурного вкуса.

Не могу я себе представить небес, в которых председательствует благожелательный старикан с белоснежной длинной бородой, по кличке Бог. Это дурацкие представления незрелых умов. Но не след обсуждать религиозные воззрения других, сколь идиотскими они бы ни казались. Конечно, нет оснований полагать, что я наверняка попаду на небо. Звучит скучновато, надо признаться. С другой стороны как я могу представить себе ад, в котором дитя, умершее до крещения, покоится в пучинах рядом с наемным убийцей или комендантом нацистского лагеря смерти или с членом Политбюро. Как странно, что лучшие устремления человека, этой грязной мелкой твари, но и его лучшие деяния, его великий самозабвенный героизм, его каждодневное мужество в суровом мире — как странно, что все это должно быть куда более благородным, чем его земная доля. Это необходимо уравновесить и объяснить. И не говорите мне, что честь — это просто химическая реакция, или что человек, который жертвует жизнью во имя другого, просто следует установленной схеме поведения в обществе. Доволен ли Господь, когда отравленный кот одиноко умирает в судорогах в закутке? Доволен ли Господь, что жизнь сурова и лишь самые приспособленные выживают? Приспособленные к чему? Нет, все не так. Если б Господь был всемогущ и всеведущ в буквальном смысле, он не стал бы утруждать себя и создавать мир. Нет успеха, если не может быть неудачи, нет искусства, если нет сопротивления материала. Неужели это — богохульство, предположить, что и у Господа бывают свои неудачные дни, когда все из рук валится? И что дни Господа долги, весьма долги?

— Вы мудры, м-р Кларендон. Вы сказали что-то насчет "сбить схему".

Он едва заметно улыбнулся.

— Вы думаете, что я забыл, где мы были, в затянувшейся книге моих слов? Нет, сэр, я не забыл. Женщина, вроде м-с Уэст, всегда кончает тем, что выходит замуж за ряд псевдоэлегантных охотников за ее кошельком, танцоров танго с изысканными бачками, инструкторов лыжного спорта с прек-

расными блондинистыми мышцами, выцветших французских и итальянских аристократов, поношенных ближневосточных вельмож и князьков, один хуже другого. Она могла докатиться и до замужества с человеком вроде Митчелла. Если бы она вышла замуж за меня, она вышла бы замуж за старого хрена, но джентльмена.

— Ага.

Он хмыкнул.

— Это междометие выражает невысокую оценку Генри Кларендона IV. Я вас не обвиняю. Хорошо, м-р Марлоу, почему же вы интересуетесь Митчеллом? Я предполагаю, вы не сможете ответить.

— Нет, сэр. К сожалению, не смогу. Я хочу узнать, почему он уехал так быстро после приезда с Востока, кто заплатил по его счету и почему, если за него заплатила м-с Уэст или друг-толстосум вроде Кларка Брандона, нужно было заплатить за неделю вперед.

Его тонкие, стершиеся губы изогнулись:

— Брандон мог легко гарантировать счет Митчелла просто по телефону. М-с Уэст могла предпочесть дать деньги, чтобы Митчелл сам расплатился. Но — а неделю вперед? Почему наш добрый Явонен сказал вам это? Что вы сами предполагаете?

— С Митчеллом связана какая-то история и отель не хочет, чтобы она вышла наружу. Что-то для ненавистных рубрик вечерних газет.

— Вроде чего?

— Вроде убийства и самоубийства. Это я говорю только к примеру. Вы заметили, что названия большого отеля редко упоминаются в газете, если гость выбрасывается из окна? Это всегда "отель в центре города" или "хорошо известный отель", или "крупный отель" или вроде этого. А если это отель высокого класса, то в его фойе никогда не увидите полицию, что бы ни происходило в номерах.

Его глаза ушли в сторону, я пригладил волосы. Игроки в канасту расходились. Усыпанная стекляшками, накукленная Марго Уэст двинулась в бар с одним из мужчин; ее мундштук торчал, как бушприт.

— Ну?

— Ага, — сказал я, рассчитывая варианты вслух, — если Митчелл сохранил за собой свой номер такой-то.

— 418, — спокойно вставил Кларендон. "С видом на море. 14 долларов в день. В сезон — 18 долларов".

— Не слишком дешево для человека с бензином на нуле. Но скажем, он сохранил за собой номер. Значит, он просто уехал на несколько дней. Вывел машину, положил багаж в 7 утра. Странное время для отъезда, учитывая, что вчера вечером он был пьян, как свинья.

Кларендон откинулся и его руки в перчатках повисли. Я понял, что усталость начинает одолевать его.

— Но тогда отель предпочел бы убедить вас, что Митчелл съехал с концом? Тогда вам придется искать его в другом месте. Если вы его и впрямь ищете. — Я встретил его выцветший взор. Он ухмыльнулся. — Меня вы не убедили, м-р Марлоу. Я болтаю и болтаю, но не потому, что мне нравится звук собственных речей. Я его все равно не слышу. Разговаривая, я получаю возможность изучить своего собеседника, не нарушая правил хорошего тона. Я изучил вас. Моя, так сказать, интуиция подсказывает, что ваш интерес к Митчеллу носит косвенный характер, иначе вы бы не выражали его столь прямо.

— Угу. Может быть, — сказал я. Тут было самое место для абзаца отточенной прозы. Генри Кларендон IV удружил бы на моем месте. Но мне больше нечего было сказать.

— Ну, идите, играйте, — сказал он. — Я устал. Пойду в номер и прилягу. Приятно было мне очень познакомиться, м-р Марлоу. — Он медленно поднялся на ноги и выпрямился, опираясь на трость. Это потребовало усилий. Я стоял рядом с ним.

— Я избегаю рукопожатий, — сказал он, — мои руки болезненны и безобразны. Поэтому я ношу перчатки. Спокойной ночи. Если я вас больше не увижу — всего доброго. Он ушел, медленно вышагивая и высоко держа голову. Я увидел, что и идти ему не просто. Он преодолел одну за другой две ступени к арке, с продолжительным отдыхом на первой ступень-

ке. Его правая нога всегда ступала первой. Трость круто налегала на ковер рядом с его левой. Он прошел арку и пошел к лифту. Я решил, что Генри Кларендон IV был довольно дошлый старикан.

Я зашагал к бару.

Мс Марго Уэст сидела в яшмовой тени с одним из игроков в канасту. Официант ставил перед ними коктейли. Я не очень заинтересовался ими, потому что чуть дальше, за столиком, отделенным перегородкой, сидела более известная мне персона. В одиночестве.

Костюм на ней был тот же, но она сняла ленту со лба, и ее кудри беспрепятственно падали на щеки. Я присел. Официант подошел и принял мой заказ. Он ушел. Музыка невидимым потоком текла медленно и чувственно.

Она чуть улыбнулась. — Извини, я вышла из себя, — сказала она. — Я сгрубила.

— Оставь. Я это заслужил.

— Ты меня искал?

— Не то чтобы специально.

— А ты... Ах, я забыла, — она достала сумочку и положила себе на колени. Она порылась в ней и паснула мне по столу небольшой предмет. Ее рука не могла скрыть, что это чековая книжка. Я обещала.

— Нет.

— Возьми, дурак! Я не хочу, чтоб официант увидел.

Я взял книжку и положил в карман. Я сунул руку в нагрудный карман и вынул маленькую квитанционную книжку. Вставил копирку и написал: "Получено от мисс Бетти Мэйфилд, "Каса дель Пониенте", Эсмеральда, Калифорния, сумма 5000 долларов в дорожных чеках "Американ Экспресс" по 100 долларов каждый, подписаны владельцем. Эти чеки остаются собственностью мисс Мэйфилд и будут возвращены ей по требованию, пока стороны не договорятся о гонораре и пока, я, нижеподписавшийся, не возьму на себя охрану ее интересов".

Я подписал эту абракадабру и протянул ей книжку.

— Прочти и подпишись в нижнем левом углу.

Она взяла и приблизила к лампе.

— Ты меня утомляешь, — сказала она. — Что ты хочешь этим добиться?

— Я хочу показать, что я не жулик и что ты это понимаешь.

Она взяла перо, которое я протянул ей, подписала и отдала обратно. Я вырвал оригинал квитанции и протянул ей, затем спрятал книжку.

Подошел официант и поставил мой стакан. Он не ждал, чтобы я заплатил. Бетти покачала ему головой. Он ушел.

— Почему ты не спросишь, нашел ли я Ларри?

— Хорошо. Нашли ли вы Ларри, м-р Марлоу?

— Нет. Он смылся из отеля. У него была комната на четвертом этаже с той же самой стороны, что и твой номер. Должно быть, прямо под твоим номером. Он собрал свои девять чемоданов и уехал в своем "бьюике". Отдельный соглядатай по имени Явонен — он именуется замдиректора, "выполняющим оперативные функции", — убежден, что Митчелл заплатил по счету и даже за неделю вперед за свой номер. Его ничто не беспокоит. Ему я не понравился, конечно.

— Кому-нибудь ты понравился?

— Тебе — на пять тысяч долларов.

— Ах, ты и впрямь идиот. Ты думаешь, Митчелл вернется?

— Я же сказал, что он заплатил за гостиницу за неделю вперед.

Она спокойно отпила из своего бокала.

— Сказал. Но что это может означать?

— Просто гадая, я могу сказать, что не он заплатил по счету, но кто-то другой. — Кому нужно было время, чтобы управиться — например, с трупом на твоём балконе прошлой ночью. В смысле, если был труп.

— Перестань!

Она допила свой коктейль, потушила сигарету, встала и оставила счет мне. Я расплатился и вышел сквозь фойе, по непонятной мне причине. Видимо, просто ноги понесли. И я увидел Гобла, входившего в кабинку лифта. Его выражение казалось несколько напряженным. Он повернулся и за-

метил мой взгляд, но виду не подал. Лифт пошел вверх.

Я вышел к машине и поехал обратно в "Ранчо Дескансадо". Лег на диван и уснул. Это был утомительный день. Может, если я отдохну и мозги прочистятся, я пойму, что, собственно, я делаю в Эсмеральде.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Часом позже я припарковался перед скобяной лавкой. Это была не единственная скобяная лавка в Эсмеральде, но только она выходила на закоулок под названием "Аллея Полтона". Я пошел на восток, считая магазины. Их было семь, все блестели стеклом в хромовых рамах и переплетах. На углу был магазин одежды, с манекенами в витрине, косынками и перчатками, и украшениями, выложенными в сиянии ламп. Цены указаны не были. Я свернул за угол и пошел на юг. Из тротуара росли тяжелые эвкалипты, они ветвились близко к земле, стволы казались твердыми и тяжелыми, совсем не похожими на высокие и хрупкие деревья вокруг Л. А. На дальнем краю Аллеи Полтона был гараж. Я шел вдоль его стены, глядя на сломанные ящики, картонки, мусорные бочки, пыльные стоянки, элегантный дворик. Я считал дома. Это было легко. Вопросов задавать не приходилось. Свет горел в маленьком окошке лачуги, которая когда-то, давным-давно, была простым и добротным домом одного из первых обитателей Эсмеральды. Деревянное крыльцо дома было обнесено сломанными перилами. Когда-то его покрасили, но это было давно, еще до нашествия магазинов. Когда-то, может, тут был и садик. Гонты крыши замахрились и торчали. Парадная дверь была грязно-горчичного цвета. Окно было плотно закрыто и нуждалось в хорошей мойке. За ним висели руины старых жалюзи. На крыльцо вели когда-то две ступени, но сейчас лишь на одну можно было ступить. За хижинкой, на полпути к грузовой площадке скобяной лавки был, по всей видимости, сортир. Я видел, что сквозь шаткую стенку этого сооружения входил водопровод. Богач модернизирует свои богатые владения. Трущоба на одного.

Я переступил через сломанную ступеньку и постучал в дверь. Звонка не было. Никто не ответил. Я взялся за ручку. Дверь не была заперта. Я толкнул ее и вошел. У меня было предчувствие, что я найду там что-то очень неприятное.

Лампочка светила в обгоревшем и искривившемся колпаке с порванным абажуром. Диван был покрыт старым одеялом. Старое кресло из тростника, качалка, стол, покрытый засаленной клеенкой. На столе рядом с чашкой кофе лежала местная газета на испанском языке "Эль Диарио", блюдечко с окурками, грязная тарелка, маленький транзистор, передававший музыку. Музыка прервалась, и мужской голос понес рекламу по-испански. Я выключил его. Тишина упала, как перина. Затем из-за полуоткрытых дверей раздалось тиканье будильника, затем звон цепочки, звук крыльев, и треснутый голос сказал быстро: *Quiéu es. Quiéu es? Quiéu es?* За ним последовало сердитое бормотанье обезьян. Затем вновь тишина.

Из большой клетки в углу на меня глядел круглый, сердитый глаз попугая. Он крутился на насесте.

— Амиго, — сказала я.

Попугай испустил лавину безумного хохота.

— Осторожнее выражайся братишка, — сказал я

Попугай перебрался на другой конец насеста, клюнул из белой чашки и пренебрежительно стряхнул овсянки с клюва. В другой чашке была вода. В ней плавали овсинки. — У тебя, видно, нет жилищной проблемы, — сказал я.

Попугай уставился на меня и фыркнул. Он склонил голову и уставился на меня другим глазом. Затем склонился вперед, распушил хвост и подтвердил правоту моих слов.

— *Necio!*, заорал он, *Fuera!*

Где-то капала вода из протекающего крана. Часы тикали. Попугай передразнил их изо всей мочи.

Я сказал: "Попка-дурак".

— *Hijo de la chingada*, — сказал попугай.

Я фыркнул на него и толкнул полуоткрытую дверь в местный вариант кухни. Линолеум на полу перед умывальником был изношен и протерт вплоть до досок. Ржавая газовая

плита с тремя горелками, открытая полка с несколькими тарелками и будильником, бойлер старинного типа для горячей воды на опоре в углу, из тех, что взрываются, потому что у них нет предохранительного клапана. Узкая задняя дверь была заперта, и ключ торчал из скважины. Одно-единственное окно было закрыто. Лампочка свисала с потолка. Потолок над ней потрескался и был покрыт подтеками от протекающей воды. За моей спиной попугай бесцельно крутился на своем насесте и время от времени тоскливо каркал со скуки.

На оцинкованной доске умывальника лежала короткая черная резиновая трубка, а рядом с ней стеклянный шприц с дошедшим до упора поршнем. В раковине лежали три длинных, тонких и пустых пробирки с маленькими пробочками рядом. Видал я такие пробирки.

Я открыл заднюю дверь, ступил во двор, и подошел к сортиру. У него была скошенная крыша, два с половиной метра спереди и меньше двух метров сзади. Дверь открывалась на себя, в другую сторону и места для нее не было. Сортир был закрыт, но запор был стар. Он недолго боролся.

Вытянутые пальцы ног ночного вахтера почти касались пола. Его голова была во мраке, в нескольких сантиметрах от стропил крыши. Он висел на черной проволоке, видимо, куске электрического провода. Пальцы его ног были вытянуты, как будто он пытался встать. Сношенные манжеты его штанов висели ниже пяток. Я коснулся его и убедился, что он уже остыл и не было резону срезать провод.

Он сделал все наверняка. Стал у умывальника в кухне, перекрутил резиновой трубочкой руку, сжал кулак, чтобы выявить вену, затем вколол себе полный шприц сульфата морфия прямо в вену. Так как все три пробирки были пусты, можно было предположить, что хотя бы одна из них была полной. Он не ограничился бы неполной дозой. Затем отложил шприц, отпустил завязанную трубку. Времени у него было мало — с морфием, вколотым прямо в вену. Затем он вошел в сортир, встал на сидение и завязал провод вокруг шеи. К этому времени он уже был, как в тумане. Он стоял и

ждал, пока не обмякнут колени, а вес тела позаботился о всем прочем. Он ничего не знал. Он уже спал.

Я закрыл дверь сортира и не вернулся в дом. Когда я шел по двору к выходу на эту красивую улицу с первоклассными домами, попугай услышал мои шаги и закричал "Quiieu es? Quiieu es? Quiieu es?".

Кто это? Никто, друг. Просто шаги в ночи.

Я шагал тихо и бесшумно, уходя прочь.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Я шагал тихо и бесшумно, куда глаза глядят, но я знал, куда меня приведут ноги. Они всегда приводили меня в "Каса дель Пониенте". Я снова сел в машину на Гранд, бесцельно покружил по улицам, а затем поставил машину, как обычно, около входа в бар. Когда я вышел, то заметил машину рядом. Это был маленький ветхий шарабан Гобла. Он был прилипчив, как мухомор.

В другое время я бы потрянул мозгами, на что он целит, но сейчас у меня была проблема похуже. Мне надо было пойти в полицию и сообщить о самоубийстве. У меня не было ни малейшего представления, что сказать. Почему я пришел к нему домой? Если он говорил правду, он видел, что Митчелл съехал рано утром. Ну и что? Я искал Митчелла. Я хотел потолковать с ним по душам. О чем? С этого момента у меня не было ответов, которые не вели бы к Бетти Мэйфилд, кто она была, откуда приехала, почему изменила имя, что случилось в Вашингтоне, Вирджинии или где-то там еще, почему ей пришлось пуститься в бега. У меня были ее 5000 долларов в кармане, формально она даже не была моим клиентом. Я влип, и основательно.

Я шел по краю обрыва и прислушивался к шуму прибоя. Я ничего не видел, кроме вспышек белой пены на гребне волны, разбивавшейся на волнорезе. На берегах бухты волны не разбивались, они наплывали плавно, как полотеры. Чувствовалось, что вот-вот выйдет ясная луна, но она еще не метилась.

Кто-то стоял вдалеке, занимаясь тем же, что и я. Женщина. Я ждал, пока она повернется. Нет двух человек, которые двигаются одинаково, так же как не бывает одинаковых отпечатков пальцев.

Я закурил сигарету и позволил зажигалке осветить мое лицо. Она подошла ко мне.

— Не пора ли перестать таскаться за мной?

— Ты мой клиент. Я стараюсь защитить тебя. Может к моему семидесятому дню рождения мне объяснят, для чего я стараюсь.

— Никто тебя не просит меня защищать. Я тебе не клиент. Иди-ка ты домой — если есть дом — и перестань приставать к людям.

— Ты мой клиент — на все 5000 долларов. Мне нужно их отработать — хоть бы усы растить тем временем.

— Ты совершенно невыносим. Я дала тебе деньги, чтобы ты отстал. Ты невыносим. Ты самый невыносимый человек, которого я когда-либо встречала, а я встречала редкостные образцы.

— Что же будет с нашим роскошным кондоминиумом в Рио, где бы я нежилась в шелковых пижамах и тешился твоими сладострастными кудрями, а тем временем дворецкий расставлял бы столовое серебро и сервиз Веджвуда с эдакой неуловимой лживой улыбочкой и бережными движениями, как гример-педик, порхающий вокруг кинозвезды?

— Ох, заткнись.

— Что, это не было твердым деловым предложением? Просто минутная прихоть? Или даже не то? Просто прием, чтобы заставить меня погубить часы золотого сна в поисках трупов, которых и не было?

— Тебе никто не давал по носу?

— Частенько, но иногда я увертывался.

Я схватил ее. Она пыталась вырваться, но без когтей. Я поцеловал ее в макушку. Внезапно она прижалась ко мне и подставила свое лицо под мои поцелуи.

— Ладно. Целуй меня, если это тебя утешит. Ты, наверно, предпочел бы, чтоб кровать была рядом.

— Я всего лишь человек.

— Не обольщайся. Ты грязный, изменный шпик. Поцелуй меня.

Я поцеловал ее. Я приник губами к ее губам и сказал:

— Он повесился сегодня.

Она резко отпрянула прочь.

— Кто? — сказала она голосом, который с трудом звучал.

— Ночной вахтер из гаража в отеле. Ты его, может, и не видала. Он был на мескаLINE, чефире, марихуане. Но сегодня вечером он накачался морфием и повесился в сортире за своим баракком в Аллее Полтона. Это закоулок такой на Гранд стрит.

Она вся дрожала. Она повисла на мне, чтобы не рухнуть. Пыталась что-то сказать, но раздался только сдавленный хрип.

— Это он сказал, что Митчелл съехал рано утром на его глазах с девятью чемоданами из гостиницы. Я не очень-то поверил ему. Он сказал мне, где он живет, и я заглянул к нему потолковать. А сейчас мне надо идти в полицию и сообщить о его смерти. Но что я могу сказать, не объяснив про Митчелла, а затем и про тебя?

— Умоляю, умоляю, умоляю! Не впутывай меня в это дело, — прошептала она. — Я тебе дам еще денег. Дам сколько захочешь.

— Господа Бога ради. Ты уже дала мне больше, чем я могу удержать. Мне не деньги нужны. Мне нужно понимание, какого черта я ввязался в это и что происходит. Слышала о профессиональной этике? Ко мне прилипли ее ошметки. Ты мой клиент?

— Да. Капитулирую. Все, наверно, капитулируют пред тобой, раньше или позже?

— Ничуть. Меня часто отшивают.

Я достал чековую книжку из кармана, осветил карманным фонариком и оторвал пять чеков. Я закрыл чековую книжку и вернул ей.

Я оставил себе 500 долларов. Сейчас по закону ты мой клиент. Теперь скажи мне, в чем дело.

— Нет. Ты не обязан заявлять о нем.

— Да, я обязан. Я пойду к ментам прямо сейчас. Я должен. И любую мою историю они смогут разоблачить за три минуты. На, возьми свои чертовы чеки, и если ты сунешь их мне снова, задеру юбку и нашлапаю по попе. Она схватила чековую книжку и рванула в темноту, к отелю. Я остался стоять, как дурак. Не знаю, долго ли я стоял. Наконец, я сунул пять чеков в карман, устало побрел к машине и пустился туда, куда я был обязан пойти.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Некто Фред Поуп, хозяин маленького мотеля, однажды излагал мне свои взгляды на Эсмеральду. Это был разговорчивый старичок, но слушать всегда стоит. Самые невероятные люди могут сказать что-то, что понадобится человеку в моем ремесле.

— Я прожил здесь тридцать лет, — рассказывал он. — Когда я приехал сюда, у меня была сухая астма. Я помню, этот городок был так тих, что псы спали посреди проспекта, и приходилось останавливать машину — у кого была машина — и подымать их пинками, чтоб проехать. Мерзавцы только скалились. Воскресенья были такие, будто тебя уже похоронили. Все закрыто, надежно, как в сейфе. Ты шел по Гранд стрит и веселился, как дохляк в морге. Даже пачки сигарет нельзя было купить. Тишь такая, что слышно, как мышь усы причесывает. Я и моя старуха — она померла 15 лет назад — играли в домино — мы жили на улице над обрывом — и прислушивались, вдруг что-нибудь интересное произойдет, — например, какой старый хрен выйдет на прогулку и постучит тросточкой.

Не знаю, хотели ли этого все Хельвиги, или старый Хельвиг устроил так по злобе. В те годы он не жил здесь, он был тогда большой шишкой в торговле сельхозтехникой.

— Скорее, — сказал я, — он был дошлым бизнесменом и понимал, что местечко вроде Эсмеральды станет со временем ценным капиталовложением.

— Может быть, — сказал Фред Поуп, — в любом случае он

почти что создал этот город, а со временем и переехал жить сюда. Он поселился в горах, в огромном особняке, с лепным фасадом и черепичной крышей. Довольно клево. У него были сады с террасами, большие зеленые газоны и цветущие кустарники, и ворота из литого чугуна, привезенные из Италии, как я слышал, и гравийные дорожки, и не один сад, а с полдюжины. Было у него достаточно земли вокруг, чтобы соседи не совали нос в суп. Он выпивал пару бутылок водяры в день, и вообще был крутой орешек. Была у него одна дочь, мисс Патриция Хельвиг. Она была принцессой Эсмеральды — и ею осталась.

К этому времени Эсмеральда стала раскачиваться. Сначала здесь была тьма старух с их мужьями. Похоронные конторы прекрасно зашибали деньгу: эти усталые старики помирали, а любящие вдовы обеспечивали им посмертную прописку. Чертовы бабы зажились на свете. Моя не зажилась.

Он остановился, отвернулся на секунду, а потом продолжал.

— Затем отсюда в Сан-Диего стал ходить трамвай, но город оставался тих — слишком тих. Здесь никто и не родился. Деторождение считалось разнузданным половым актом. Затем война все изменила. Сейчас у нас появились потеющие парни, хулиганистые подростки, в джинсах и грязных рубашках, художники, великосветские выпивохи и маленькие изысканные магазинчики с сувенирчиками, где тебе продадут копейный бокал за восемь пятьдесят. Появились рестораны и винные лавки, но у нас все еще нет досок с объявлениями или биллиардных. В прошлом году кому-то пришла в голову идея поставить в парке телескоп-автомат, с монетками. Надо было послушать, какой вопль поднялся в горсовете. Они зарезали это дело на корню, но Эсмеральда уже не убежище для пташек. У нас завелись магазины, такие же элегантные, как в Беверли Хиллс, и мисс Патриция всю жизнь трудилась, как бобер, на благо города. Хельвиг умер пять лет назад. Врачи сказали ему пить поменьше, а то он и года не протянет. Он отмастерил их и сказал, что если он не может пить утром, днем и вечером, когда ему заблагорассудится, то он и вовсе пить не будет. Он завязал и умер через год.

Врачи нашли для этого название — они всегда найдут, — а мисс Хельвиг нашла, надо думать, подходящее название для этих врачей. Как бы то ни было, они разогнали больничный штат и это отцепило их от Эсмеральды. Но ничего не изменилось — у нас осталось 60 врачей, город был полон Хельвигов, некоторые с другими фамилиями, но все родня друг другу. Одни богаты, а другие работают. Я думаю, мисс Хельвиг работает больше всех. Ей сейчас 86, но она вынослива, как мул, не пьет, не курит, не жует табак, не ругается и не пользуется косметикой. Она подарила городу больницу, частную школу, библиотеку, художественный театр, теннисный корт и, Бог знает, что еще. А возят ее в 30-летнем роллс-ройсе, от которого шуму, как от швейцарских часов. А здешний мэр недалеко ушел от Хельвигов, да вниз под горку. Я думаю, что это она построила мэрию и продала городу за доллар. Солидная бабешка. Конечно, теперь у нас завелись и евреи, но я тебе скажу одно. Считается, что еврей тебя обсчитает, да еще и нос сопрет, если не будешь держать ухо востро. Это все фигня. Еврей кайфует с торговли, он любит бизнес. Он только с виду крут. Но если смотреть поглубже с евреем торговцем приятно иметь дел. Он человек. Если хочешь, чтобы тебя хладнокровно ободрали, как липку, у нас найдутся такие, что обдерут тебя до костей и еще прибавят десять процентов за обслуживание. Они вырвут у тебя из зубов последний доллар и еще глянут, будто ты его у них спер.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Участок был частью длинного модернистского здания на углу улиц Хельвиг и Оркатт. Я поставил машину и вошел, все еще прикидывая, как рассказать свою историю, и все же понимая, что рассказать ее придется. Приемная была маленькая и чистенькая, дежурный офицер был в рубашке с отглаженными складками, и вся его форма выглядела, как будто десять минут назад вернулась из прачечной. Батарея динамиков на стене выплевывала сообщения шерифов со всей страны. Табличка на конторке сообщала фамилию дежурного офицера — Гриделл. Он глянул на часы, как все они смотрят — выжидающе.

— Чем можем помочь вам, сэр? — У него был приятный, прохладный голос и тот дисциплинированный вид, который находишь только у лучших полицейских.

— Я хочу сообщить о смерти. В хижине за скобяной на Гранд стрит, в переулке, который называется Аллеей Полтона, повесился человек в своего рода сортире. Он умер. Спасти невозможно.

— Ваше имя, сэр? — он уже нажимал на кнопки.

— Филип Марлоу. Я частный детектив из Л.А.

— Какой номер дома, вы заметили?

— Там не было номера, насколько я мог заметить. Прямо за скобяной лавкой.

— Срочный вызов скорой помощи, — сказал он в микрофон. — Возможное самоубийство в маленьком доме позади скобяной лавки на Гранд стрит. Висельник в сортире во дворе.

Он глянул на меня:

— Вы знаете, как его зовут?

Я покачал головой.

— Он был ночным вахтером в гараже отеля "Каса дель Поиненте".

Он перелистал журнал.

— Мы его знаем. Привлекался за марихуану. Не пойму, как он удержался на службе, а может, он завязал, да и рабочих на такую работу здесь негусто.

Высокий сержант с каменным лицом вошел в контору, быстро глянул на меня и вышел.

Снаружи раздался звук стартера.

Дежурный офицер повернул рычажок на маленьком коммутаторе.

— Капитан, это Гринделл. Некто Филип Марлоу сообщил о покойнике в Аллее Полтона. Выслана карета скорой помощи. Сержант Грин уже в пути. В том же районе у нас две патрульные машины.

Он послушал с минуту, потом посмотрел на меня:

— Капитан Алессандро хочет поговорить с вами, м-р Марлоу. Прямо по коридору, последняя дверь направо.

Он вернулся к микрофону прежде, чем я вышел в коридор.

На последней двери справа было два имени: капитана Алесандро — на табличке, привинченной к двери, и сержанта Грина — на съемной карточке. Дверь была полуоткрыта, я постучал и вошел.

Человек за столом был так же безупречен, как и дежурный офицер. Он изучал карточку с помощью лупы, магнитофон рядом рассказывал несчастным, сбитым голосом какую-то утомительную историю. Капитан был примерно 187 см. росту, у него были густые темные волосы и чистая оливковая кожа. Форменная фуражка лежала перед ним на столе. Он посмотрел вверх, остановил магнитофон, положил лупу и карточку.

— Усаживайтесь, м-р Марлоу.

Я сел. Он посмотрел на меня, не говоря ни слова. У него были нежные карие глаза, но рот не отличался нежностью.

— Насколько я понимаю, вы знакомы с майором Явоненом из "Касы".

— Я встречался с ним. Мы не стали закадычными приятелями.

Он едва улыбнулся.

— Этого было б трудно ожидать. Ему не могло прийти по вкусу, что частные детективы шныряют по отелю. Он служил в военной разведке. Мы все еще зовем его "майор". Это самый офигенно вежливый город в моей жизни. Мы здесь офигенно учтивы и снисходительны, но все же мы — полицейские. Что насчет этого Сеферино Чанга?

— Так его звали? Я не знал.

— Да. Мы его знали. Позвольте спросить вас, что вы делаете в Эсмеральде?

— Я был нанят лосанджелесским адвокатом по имени Клайд Амни. Он послал меня встретить одно лицо по прибытии поезда и проследить, где оно остановится. Причин слежки мне не объяснили, но м-р Амни сказал, что он представляет вашингтонскую юридическую фирму и что он сам не знает резона слежки. Я взялся за эту работу потому, что нет ничего противозаконного в слежке за человеком, если ему при этом не мешают. Объект слежки остановился в Эсмеральде. Я вернулся

в Л.А. и попытался докопаться, в чем дело. Я не смог, поэтому я взял то, что мне показалось разумным гонораром — 250 долларов, и списал расходы. М-р Амни был не очень-то мною доволен.

Капитан кивнул.

— Но это не объясняет, почему вы в Эсмеральде и что у вас общего с Сеферино Чангом. А так как вы не работаете на м-ра Амни, если вы не работаете на другого адвоката, то у вас нет и привилегии.

— Не давите на меня, капитан, если можете. Я узнал, что объекта слежки шантажировал или пытался шантажировать человек по имени Ларри Митчелл. Он живет или жил в отеле "Каса". Я пытался установить с ним контакт, но единственная информация, которую я получил, была от Явонена и от этого вот Сеферино Чанга. Явонен сказал, что он съехал, заплатил по счету и заплатил за неделю вперед, чтобы сохранить за собой свой номер. Чанг сказал мне, что он съехал в 7 утра с девятью чемоданами. В манере держаться у Чанга было что-то необычное, и я хотел еще раз поговорить с ним.

— Как вы узнали, где он живет?

— Он сказал мне. Он был желчный человек. Он сказал, что живет у богачей, его сердило, что он живет, как нищий.

— Это меня не устраивает, Марлоу.

— Ладно, и меня бы не устроило. Он был на игле, я выдал себя за толкача. Время от времени в нашем ремесле приходится "лепить ваньку"

— Лучше. Но одного не хватает: имени вашего клиента — если у вас есть клиент.

— Может ли это остаться между нами?

— Зависит. Мы никогда не раскрываем имен жертв шантажа, если дело не доходит до суда. Но если это лицо совершило или было обвинено в преступлении, или пересекло границу штата, чтобы избежать преследования — тогда это было бы моим долгом, долгом офицера полиции, сообщить о ее теперешнем местоположении и о имени, которое она взяла.

— "Она". Значит, вы уже знали. Зачем спрашивать? Я не

знаю, почему она пустилась в бега. Мне она этого не сказала. Я знаю лишь, что она в беде, что она запугана и что Митчелл знал достаточно, чтобы сказать ей "куш".

Плавным движением он выудил сигарету из ящика. Он воткнул ее в свой большой рот, но не прикурил.

Он ударил меня еще одним непреклонным взглядом.

— Хорошо, Марлоу. Покамест на этом мы успокоимся. Но если откопаешь что-нибудь — принесешь вот сюда.

Я встал. Он встал тоже и протянул мне руку.

— Мы не так уж круты. Мы просто делаем свое дело. Не заводишься с Явоненом. Хозяин отеля человек влиятельный, он здесь заказывает музыку.

— Спасибо, капитан. Я постараюсь быть пай-мальчиком — даже по отношению к Явонену.

Я пошел на выход. У конторки сидел тот же офицер. Он кивнул мне, и я вышел в вечернюю мглу и сел в машину. Я сидел, положив руки на руль. Я не слишком привык к ментам, которые обращались со мной, как будто я имел право жить. Так я и сидел, когда дежурный офицер высунул голову из-за двери и сказал, что капитан Алессандро снова зовет меня.

Когда я вернулся в кабинет капитана Алессандро, он висел на телефоне. Кивком он указал мне на кресло для клиентов, а сам продолжал слушать и делать быстрые пометы на листе скорописью, как репортеры. Затем он сказал: "Спасибо. До свидания".

Он откинулся, постучал пальцами по столу и нахмурился.

— Это было сообщение шерифа из Эскондидо. Найдена машина Митчелла — видимо, брошенная. Я думал, что вам будет интересно узнать.

— Спасибо, капитан. Где это произошло?

— Примерно в 20-ти милях отсюда, на проселочной дороге, которая ведет к шоссе №395, но эта не та дорога, по которой человек обычно поедет на №395. Местечко, которое называется каньон Лос-Пенаскитос. Ничего там нет, кроме выжженной травы и сорняков, и сухой балки. Я знаю это место. Сегодня утром ранчер по имени Гейтс проезжал там на маленьком гру-

зовичке, искал камень для строительства. Он проехал мимо, двухтонного "бьюика", стоящего на обочине. Он не обратил особого внимания, но заметил, что "бьюик" не был разбит, а значит его просто припарковали. Затем около 4-х, попозже, он второй раз поехал за камнем. "Бьюик" стоял на том же месте. На этот раз он остановился и осмотрел его. Ключей не было, но машина незаперта. Никаких признаков ущерба. Все же Гейтс записал номер машины и данные владельца на регистрационном сертификате. Когда он вернулся домой на ранчо, он позвонил шерифу в Эскондидо.

Конечно, тамошние полицейские знали каньон Лос-Пенаскитос. Один из них поехал туда и осмотрел машину. Пуста, как бутылка после пьянки. Шериф умудрился открыть багажник — ничего, кроме записки и гаечных ключей. Он вернулся в Эскондидо и позвонил мне. Я только что говорил с ним.

Я закурил и предложил сигарету капитану Алессандро. Он покачал головой.

— Появились идеи, Марлоу?

— Не больше, чем у вас.

— Все равно, слушаем.

— Если Митчелл собирался исчезнуть с помощью друга — друга, о котором никто здесь не слыхал, — он мог бы оставить машину на хранение в каком-нибудь гараже. Это не привлекало бы внимания. У хозяев гаража оставленная на хранение машина не вызвала бы любопытства. А чемоданы Митчелла были уже в машине у друга.

— Ну?

— Значит, не было никакого друга. Значит, Митчелл испарился прямо с девятью чемоданами на пустынной неезжей дороге.

— Ну, валяй дальше, — его голос стал жестким, в нем появился надрыв и угроза. Я встал.

— Не надо меня запугивать, капитан Алессандро. Я ничего другого не сделал. Пока вы относились ко мне по-человечески. Не подумайте, что я связан с исчезновением Митчелла. Я не знал — и не знаю — как он шантажировал моего клиента. Я только знаю, что это одинокая, запуганная, несчастная женщи-

на. Если я узнаю, если мне удастся докопаться, в чем дело, я скажу вам — или не скажу. Если не скажу, вы всегда можете подвести меня под статью. Мне это будет не впервой. Я не закладываю клиентов — даже добрым полицейским.

— Будем надеяться, что до этого дело не дойдет, Марлоу. Будем надеяться.

— И я хочу надеяться, капитан. Спасибо вам, что вы так ко мне отнеслись.

Я прошел по коридору, кивнул дежурному офицеру у конторки и снова сел в машину. Я чувствовал себя постаревшим на 20 лет.

Я знал — как, наверняка, и капитан Алессандро, — что Митчелла нет в живых, что не он пригнал машину в каньон Лос-Пенаскитос, но кто-то другой — с мертвым телом Митчелла на заднем сиденье.

Другого объяснения нельзя было найти. Бывают факты ощутимые — документы, магнитофонная запись, их можно подшить к делу. А бывают факты незримые, но и они факты, потому что иначе невозможно объяснить происшедшее.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Это было похоже на внезапный вопль в ночи, но без звука. Почти всегда в ночи, потому что ночью опасность ближе. Но и днем меня иногда осеняло прозрение, предчувствие, основанное не на знании. Возможно, — на долгом опыте и долгом напряжении. А в данном случае — на внезапной уверенности, что близится, как говорят матадоры, "момент истины". Других оснований не было — разумных оснований. Но я остановил машину у ворот "Ранчо Дескансадо", вырубил фары и мотор, пошел метров пять-десять вниз накатом и дернул ручной тормоз до упора.

Я пешком подошел к конторе. Над ночным звонком горела маленькая лампочка, но контора была закрыта. Было только пол-одиннадцатого. Я обогнул контору и побрел лесом. Я вышел на две машины. Одна — прокатная, анонимная, как монета в автомате. Наклонившись, я разглядел ее номер. Рядом

стоял маленький шарабан Гобла. Не так давно он стоял у отеля "Каса дель Пониенте". Сейчас он был здесь.

Я пошел дальше, не выходя на дорожку, и оказался под окнами своего номера. Там было тихо, темно. Медленно, очень медленно я поднялся на крыльцо и приник ухом к двери. Поначалу я ничего не слышал. Затем я услышал придушенный всхлип — мужчины, не женщины. Затем — визгливый, тихий покашливающий смехок. Затем — вроде бы глухой удар. Затем — тишина.

Я спустился и вернулся лесом к своей машине. Я отпер багажник и вытащил монтировку. Я пошел обратно осторожно, осторожнее, чем раньше. Я снова прислушался. Ничего. Тишина. Ночное безмолвие. Я вынул фонарик, быстро сверкнул в окно, затем отодвинулся от дверей. В течение нескольких минут ничего не происходило. Затем дверь чуть приотворилась.

Я саданул ее плечом что было сил — она распахнулась настежь. Человек отшатнулся, но рассмеялся. В тусклом свете блеснул его револьвер. Я размозжил ему пальцы монтировкой. Он заорал. Я размозжил ему второе запястье. Я услышал стук револьвера об пол.

Я протянул руку за спину и повернул выключатель. Пинком я затворил дверь.

Он был бледный, рыжеволосый, с мертвыми глазами убийцы. Его лицо перекосилось от боли, но глаза оставались мертвыми. Он был ранен, но по-прежнему тверд.

— Ты долго не проживешь, малый, — сказал он.

— А ты вообще не проживешь. А ну, отшатнись.

Он ухитрился рассмеяться.

— Ноги у тебя еще остались, — сказал я. — Становись на колени и ложись. Лицом вниз, если оно тебе нужно.

Он попытался плюнуть в меня, но его горло свело. Он скользнул вниз, на колени, держа руки в стороны. Он застонал. Внезапно он рухнул. Они все чертовски тверды — пока у них в руках подтасованная колода. Другими колодами они играть не умеют.

Гобл лежал на кровати. Вместо лица у него была масса синяков и порезов. Его нос был сломан. Он был без сознания и

дышал, как придушенный.

Рыжий все еще был в отпаде, револьвер лежал возле него на полу. Я сорвал с него ремень и связал ему колени. Затем я повернул его на спину и очистил карманы. В его кошельке было 670 долларов, права на имя Ричарда Харвеста, адрес: маленький отель в Сан-Диего. В бумажнике лежали отдельные чеки на два десятка банков, набор кредитных карточек. Разрешения на ношение оружия там не было.

Я оставил его лежать на полу и пошел в контору. Я нажал на кнопку ночного вызова и не отпускал ее. Наконец из темноты возникла фигура. Это был Джек в пижаме и халате. У меня все еще в руках была монтировка.

Он смотрел на меня в изумлении.

— В чем дело, м-р Марлоу?

— О, ничего. Бандит пытался меня убить. В моем номере на моей кровати лежит человек, избитый до полусмерти. Ничего особенного. Все нормально по местным стандартам, надо полагать.

— Я вызову полицию.

— Очень любезно с вашей стороны, Джек. Как видите, я еще жив. Знаете, что делать с этим отелем? Превратите его в пансион для кошек и собак.

Он отпер дверь и вошел в контору. Я убедился в том, что он вызывает полицию, и вернулся в свой номер. Рыжий был упрям. Он изноровился сесть спиной к стене. Глаза по-прежнему смотрели мертво, а рот кривился в усмешке.

Я подошел к кровати. Глаза Гобла были открыты.

— Я не вытянул, — прошептал он, — переоценил я свою хватку. Зарвался, попробовал играть не в своей лиге.

— Сейчас придут менты. Что произошло?

— Я попал в ловушку. Жаловаться не приходится. Этот парень душегуб. Мне повезло. Я дышу. Заставил меня приехать сюда. Вырубил меня, связал, затем исчез на какое-то время.

— Кто-то подвез его, Гобл. Прокатная машина стоит рядом с твоей. Если он оставил ее у "Касы", как он вернулся за ней?

Гобл медленно повернул голову и посмотрел на меня.

— Я думал, что я тертый калач. Теперь я знаю, что ошибал-

ся. Я хочу только одного: вернуться в Канзас Сити. Мелкоте никогда не справиться с паханами. Никогда. Наверно, ты спас мою жизнь.

Тут появилась полиция.

Сначала два парня из патруля, приятные, спокойные, серьезные, в безукоризненных формах и с невозмутимыми лицами. Затем здоровый напористый сержант, который назвался дежурным сержантом патруля Хольцминдером.

Он бросил взгляд на рыжего и подошел к постели.

— Вызови скорую помощь. — бросил он коротко через плечо.

Один из ментов вышел к машине. Сержант наклонился над Гоблом.

— Хочешь рассказать?

— Рыжий избил меня. Он взял мои деньги. Припер ко мне пушку в "Касе", заставил привезти его сюда. Затем он избил меня.

— Почему?

Гобл испустил подобие вздоха, и его голова откинулась на подушку. Или отпал, или притворился. Сержант выпрямился и повернулся ко мне.

— Что вы расскажете?

— Мне нечего рассказывать, сержант. Я ужинал сегодня с этим человеком. Мы встречались пару раз. Он сказал, что он частный детектив из Канзас Сити. Не знаю, что привело его сюда.

— А этот? — сержант сделал неопределенное движение в сторону рыжего, который все еще хмылился неестественной эпилептической усмешкой.

— В жизни его не видал. Ничего о нем не знаю, кроме того, что он поджидал меня с револьвером в руках.

— Это ваша монтировка?

— Да, сержант.

Другой мент вошел в комнату и кивнул сержанту:

— В пути.

— Значит, у вас была монтировка, — сказал сержант спокойно, — почему?

— Скажем, у меня было предчувствие, что меня поджидают.
— Скажем, что это было не предчувствие. Скажем, вы знали это. И не только это.

— Скажем, что вы не будете называть меня лжецом, не зная в чем дело. Этот тип, может, и гангстер, но все же у него сломаны оба запястья. Знаете, что это значит, сержант? Он никогда больше не возьмет пушку в руки.

— Значит мы привлечем вас за нанесение тяжелых телесных повреждений.

— Если так скажете, сержант.

Затем приехала "Скорая помощь". Они взяли Гобла первым, а затем санитар наложил временные шины на запястья рыжего. Они развязали его колени. Он глянул на меня и рассмехался.

— В другой раз, кореш, я придумаю чего пооригинальнее, но ты чисто сработал. Без булды.

Он вышел. Две кареты скорой помощи захлопнулись, и ее свист исчез в ночи. Сержант присел с фуражкой в руке. Он вытирал лоб.

— Давайте попробуем еще раз. С самого начала, — сказал он ровным голосом. — Как будто мы не вцепились другу другу в глотки, а лишь пытались понять друг друга. Попробуем?

— Да, сержант. Попробуем. Спасибо, что дали мне шанс.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

В конце концов я приземлился у ментов. Капитана Аллесандро не было. Я подписал протокол допроса, который вел сержант Хольцминдер.

— Монтировка, а? — сказал он задумчиво. — Мистер, вы страшный риск брали на душу. Он мог пристрелить вас четыре раза, пока вы размахивались.

— Не думаю, сержант. Я здорово шараянул его дверью. И я не очень-то размахивался. А может, он и не должен был пристрелить меня. Я не думаю, что он пустился в это приключение по собственной инициативе.

Еще немного таких разговоров, и они разрешили мне уйти.

Было уже слишком поздно для чего угодно, кроме постели, слишком поздно для бесед. Но все равно, я пошел к телефонной конторе, заперся в маленькой аккуратной телефонной кабинке и набрал номер "Касы дель Пониенте".

— Мисс Мэйфилд, будьте любезны. Мисс Бетти Мэйфилд. Номер 1224.

— Я не могу звонить гостю в такой час.

— Почему? У вас сломано запястье? — я был крут в эту ночь. — Думаете, я позвонил бы, если б мог подождать?

Он позвонил, и она ответила сонным голосом.

— Марлоу говорит. Беда. Прийти к вам или вы придете ко мне?

— Что? Какая беда?

— Поверьте мне хоть раз. Подобрать вас на стоянке?

— Мне надо одеться. Дайте время.

Я вышел к своей машине и поехал к "Касе". Я курил уже третью сигарету и жалел, что не выпил, когда она быстро и бесшумно подошла к машине и села в нее.

— Я не знаю о чем речь? — начала она.

Но я перебил ее:

— Только вы и знаете в чем дело. И сегодня вы мне расскажете. И не стоит изображать возмущение. Со мной этот номер не пройдет.

Я рывком тронул машину с места, пронесся по безмолвным улицам, спустился вниз в "Ранчо Дескансадо" и поставил машину под деревьями. Она вышла не говоря ни слова, я отпер дверь и зажег свет.

— Виски?

— Ладно.

— Таблеток не принимала?

— Нет, не сегодня, если вы имеете в виду снотворное. Я гуляла с Кларком и выпила слишком много шампанского. А от него меня всегда ко сну клонит.

Я налил виски в два стакана и дал ей один. Я сел в кресло и откинулся.

— Извините, — сказал я, — я немного устал. Раз в два-три дня мне нужно присесть. Это слабинка, с которой я пытался

совладать, но я уже не так молод. Митчелл мертв.

У нее дыхание сперло в горле, рука дрогнула. Она, может быть, побледнела. Я не мог судить наверняка.

— Мертв? — прошептала она. — Мертв?

— Ну, хватит. Как сказал Линкольн, можно дурачить всех детективов в течение некоторого времени, можно дурачить некоторых детективов все время, но невозможно...

— Заткнись! Заткнись немедленно! Что ты из себя строишь?

— Просто человека, который старался изо всех сил помочь тебе. Человека с опытом и пониманием, видящим, что ты влипла. И желающим помочь тебе выпутаться, без всякой помощи с твоей стороны.

— Митчелл мертв, — сказала она тихим, сдавленным голосом. — Я не хотела тебя обидеть. Где?

— Его машина была найдена в одном диком месте. А двадцати милях отсюда, на проселочной дороге. Место под названием каньон Лос-Пенаскитос. Пустыня. В машине ничего не было, даже чемоданов. Просто пустой автомобиль стоит на обочине неезжей дороги.

Она глянула в стакан и отхлебнула здоровый глоток.

— Ты сказал, что он мертв.

— Кажется, прошли годы, но на самом деле лишь несколько часов назад ты приходила ко мне и предлагала лучшую половину Рио, чтобы сбавить его труп.

— Но ведь не было... я имею в виду, мне просто приснилось...

— Уважаемая, вы явились сюда около 3-х часов утра в почти шоковом состоянии. Вы описали мне, где он был и как он лежал в шезлонге на вашей веранде. Я поехал с вами в гостиницу и поднялся по служебной лестнице с бесконечной осторожностью, которой так славится моя профессия. Что же я увидел? Митчелла нетути, а вы спите в своей маленькой девичьей постельке в обнимку со снотворной таблеточкой.

— Хватит валять дурака, — отрубил она. — Я знаю, как тебе это нравится. Почему ты не уснул со мной в обнимку? Мне же тогда не понадобилась таблеточка, может быть.

— Давай по порядку. Первое: ты говорила правду, когда

прибегала сюда. Труп Митчелла лежал на твоём балконе. Но, пока ты здесь лепила фраера, кто-то взял труп, отнес его в машину, упаковал его чемоданы и снес и их вниз. Все это требовало времени. И не только времени. Это требовало веских оснований. Кто сделал бы это, чтобы уберечь тебя от минутного конфуза в связи с найденным на балконе мертвецом?

— Ах, заткнись. Я... — Она допила и поставила стакан рядом. — Я устала. Не возражаешь, если я прилягу на твою постель?

— Нет. Если разденешься.

— Хорошо. Я разденусь. Значит к этому ты и вел все время?

— Может, эта постель тебе не понравится. Только что на ней был избит до полусмерти Гобл — наемным убийцей по имени Ричард Харвест. Он был изувечен. Помнишь Гобла, а? Жирный человечек в темной машинешке. Он следил за нами в горах вчера вечером.

— Не знаю никакого Гобла. Не знаю никакого Ричарда Харвеста. Откуда ты это все знаешь? Почему они были тут — в твоём номере?

— Наемный убийца подкарауливал меня. Когда я услышал о машине Митчелла, у меня возникло предчувствие. Даже у генералов и прочих важных людей бывают предчувствия. Почему бы не у меня? Весь фокус — поверить в предчувствие. Мне повезло. Я поверил в предчувствие. У него была пушка, но у меня была монтировка.

— Какой крутой, сильный, неукротимый тип, — сказала она желчно. — Я не возражаю против этой постели. Прямо сейчас раздеться?

Я подошел и поставил ее на ноги и встряхнул:

— Прекрати этот вздор, Бетти. Когда я захочу твоё прекрасное, белоснежное тело, ты не будешь моим клиентом. Я хочу узнать, чего ты боишься. Как я могу помочь тебе, если я не знаю? Только ты можешь рассказать мне.

Она зарыдала в моих объятиях. У женщин мало средств защиты, но они совершают чудеса и теми, что есть.

Я крепко прижал ее к себе.

— Можешь плакать и рыдать, сколько хочешь, Бетти. Давай

валяй, у меня есть время. Если бы не то, что ..., если бы не...

Тут я смолк. Она крепко прижалась ко мне, вся дрожа. Она подняла лицо, потянула мою голову вниз, и я поцеловал ее.

— У тебя есть другая? — спросила она тихо, не прерывая поцелуя.

— Была.

— Не такая, как все?

— Была, но очень недолго. И очень давно.

— Возьми меня. Я твоя, я вся твоя. Возьми меня.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Меня разбудил грохот в дверь. Я открыл глаза, ничего не соображая. Она прижалась ко мне так плотно, что я с трудом мог пошевелиться. Я осторожно разжал ее объятия и высвободился. Она по-прежнему крепко спала.

Я выбрался из постели, накинул себе на плечи халат и подошел к дверям. Я спросил, не отворяя дверей:

— В чем дело? Я сплю.

— Капитан Алессандро вызывает вас немедленно в участок. Откройте дверь.

— Простите, не могу. Мне нужно побриться, умыться и так далее.

— Откройте дверь. Это сержант Грин.

— Прошу прощения, сержант, но никак не могу. Я приду, как только смогу.

— Что там — баба?

— Сержант, подобные вопросы неуместны. Я скоро приду.

Я услышал его шаги на лестнице. Я услышал, как кто-то рассмеялся. Я услышал, как кто-то сказал: "Этот парень здорово живет. Интересно, что он делает по выходным?"

Я услышал звук отдаляющейся полицейской машины. Я пошел в ванную, принял душ, побрился, оделся. Бетти по-прежнему была приклеена к подушке. Я написал записку и положил ее на свою подушку: "Меня вызвали менты. Пришлось пойти. Ты знаешь, где стоит машина. Вот ключи".

Я осторожно вышел, запер дверь и нашел прокатную машину. Я не сомневался, что в машине найдутся ключи — гангстерам вроде Ричарда Харвеста ключи ни к чему. Они носят связки ключей для всех машин.

Капитан Алессандро выглядел так же, как и вчера: он, видимо, никогда не менялся. С ним был человек, пожилой, хмурый, со злобными глазами. Капитан Алессандро кивнул мне головой на обычное кресло. Мент в форме вошел и поставил передо мной чашку кофе. Он улыбнулся мне исподтишка и вышел.

— Это м-р Генри Кинсолвинг из Уэстфилда, штат Каролина, Марлоу. Северная Каролина.

Я не знаю, как он добрался до наших мест, но факт остается фактом: он здесь. Он говорит, что Бетти Мэйфилд убила его сына.

Я ничего не сказал. Мне было нечего сказать. Я отпил глоток кофе, слишком горячего, но вполне сносного.

— Хотите рассказать нам поподробнее, м-р Кинсолвинг?

— Кто это? — У него был резкий голос, подстать чертам лица.

— Частный детектив по имени Филип Марлоу. Его контора в Л.А. Он пришел потому, что Бетти Мэйфилд — его клиент. Видимо, у вас более мрачное представление о мисс Мэйфилд, чем у него.

— Нет у меня никакого представления, капитан, — сказал я, — я просто люблю ее гладить — время от времени. Это меня успокаивает.

— Вас успокаивают ласки убийцы! — рявкнул на меня Кинсолвинг.

— Ну, я ж не знал, что она убийца, м-р Кинсолвинг. Для меня это внове. Будьте любезны, поподробнее.

— Женщина, которая называет себя Бетти Мэйфилд — это ее девичье имя — была замужем за моим сыном Ли Кинсолвингом. Я никогда не одобрял этого брака. Он был заключен сдурю, в военные годы. У моего сына были сломаны шейные позвонки на войне, и ему пришлось носить нашейный протез. Однажды ночью она убрала протез и стала дразнить его, пока

он не кинулся на нее. К сожалению, он слишком много пил с тех пор, как вернулся с фронта. Они часто ссорились. Он запнулся и упал поперек кровати. Когда я вошел, она пыталась нацепить ему протез на шею. Он был уже мертв.

Я посмотрел на капитана Алессандро.

— Это записывается, капитан?

— Каждое слово.

— Хорошо, м-р Кинсолвинг. Есть и продолжение, я предполагаю.

— Естественно. У меня немалое влияние в Уэстфилде. Я владец банка, ведущей газеты, почти всех фабрик города. Уэстфилдцы — мои друзья. Моя невестка была арестована и предстала перед судом по обвинению в убийстве. Присяжные нашли ее виновной.

— Все присяжные были из Уэстфилда, м-р Кинсолвинг?

— Да. Почему бы и нет?

— Не знаю, сэр. Звучит, как ваше личное владение.

— Не дерзите мне, молодой человек.

— Извините, сэр. Продолжайте.

— У нас в штате есть странный закон, как и в нескольких других штатах. Обычно защитник автоматически просит судью признать обвиняемого невиновным. Эта просьба также автоматически отклоняется. Но в нашем штате судья может отложить свое решение вплоть до вынесения вердикта. Судья был сенильный старик. Он отложил решение по просьбе защитника. Когда присяжные вынесли вердикт виновности, он провозгласил в длинной речи, что те не рассмотрели возможность того, что мой сын в пьяной ярости сорвал протез с шеи, чтобы испугать свою жену. Он сказал, что в озлоблении все может случиться. Он сказал, что присяжные не рассмотрели возможность того, что моя невестка говорила правду — а именно, что она пыталась надеть протез на шею моего сына. Судья аннулировал вердикт присяжных и освободил подсудимую.

Я сказал ей, что она погубила моего сына, и что я позабочусь, чтобы она не нашла себе приюта нигде на свете. Поэтому я здесь.

Я глянул на капитана, Он смотрел в никуда. Я сказал:

— М-р Кинсолвинг, что бы вы ни считали, м-с Ли Кинсолвинг, которую я знаю под именем Бетти Мэйфилд, была судима и оправдана. Вы назвали ее убийцей. Это клевета. Мы сойдемся на миллионе долларов компенсации.

Он неестественно громко рахохотался.

— Ах ты пройдоха, голь перекатная! — почти завизжал он. — Там, откуда я приехал, тебя бы бросили в холодную, как бродяжку.

— Назовем это миллион с четвертью, — сказал я. — Я стою не так дорого, как ваша бывшая невестка.

Кинсолвинг обернулся к капитану Алессандро.

— Что здесь происходит? — рявкнул он, — что вы все — банда жуликов?

— Вы говорите с офицером полиции, м-р Кинсолвинг.

— Мне это до лампочки, — сказал Кинсолвинг яростно, — среди полицейских немало жулья.

— Стоило бы убедиться — прежде чем называть их жульем, — сказал Алессандро, тихо развлекаясь. Затем он закурил, пустил табачные кольца и улыбнулся сквозь завесу дыма.

— Отдышитесь, м-р Кинсолвинг. Вам грозит инфаркт. Неблагоприятная перспектива. Возбуждение противопоказано. Я когда-то учил медицину. Но как-то стал ментом. Война помешала, надо думать.

Кинсолвинг встал. Капли слюны задрожали у него на подбородке. Он издал сдавленный звук.

— Это еще не конец этой истории, — пролаял он.

Алессандро кивнул.

— Интересная черта полицейской работы — ни у одной истории нет конца. Слишком много неизвестных. Что бы вы хотели, чтобы я сделал? Арестовал человека, которого судили и оправдали, только потому что вы — большая шишка у себя в Уэстфилде, Каролина?

— Я сказал ей, что я никогда не дам ей покоя, — сказал Кинсолвинг яростно. — Я последую за ней до края земли, я добьюсь того, чтобы все узнали, кто она на самом деле.

— Кто же она на самом деле, м-р Кинсолвинг?

— Убийца, она убила моего сына, а идиот-судья выпустил ее — вот кто она!

Капитан Алессандро вытянулся во все свои 187 сантиметров.

— Дуй, паря, — сказал он холодно. — Ты меня скоро рассердишь. Я встречал всяких хулиганов на своем веку. Большинство были бедные, глупые подростки из захолустья. Первый раз я наткнулся на большого, важного, влиятельного человека, который так же глуп и злобен, как пятнадцатилетний правонарушитель. Может, Уэстфилд, Северная Каролина, у тебя в кармане или так, по крайней мере, тебе кажется. У меня в городе у тебя в кармане и сигарного окурка нет. Проваливай отсюда, пока я тебя не привлеку за препятствование офицеру полиции при исполнении служебных обязанностей.

Кинсолвинг почти проковылял шатаясь к двери и схватился за ручку, хотя дверь была широко открыта. Алессандро проводил его взглядом. Он медленно сел в кресло.

— Крутенько вы с ним, капитан.

— Как я это переживу? Если то, что я сказал, заставит его еще раз взглянуть на себя — ах, к черту!

— Нет, такого не заставит. Я могу идти?

— Да. Гобл отказался дать показания. Сегодня он уже возвращается в Канзас Сити. Мы что-нибудь пришлем этому Ричарду Харвесту, но что проку? Мы посадим его за решетку на какое-то время, но для таких дел найдется сотня Харвестов.

— Что мне делать с Бетти Мэйфилд?

— Мне сдается, что вы это уже сделали, — сказал он без выражения.

— Нет, пока я не узнаю, что случилось с Митчеллом. — У меня было не больше выражения, чем у него.

— Я знаю лишь, что он уехал. Это еще не вводит его в круг наших обязанностей.

Я встал. Мы обменялись эдакими взглядами. Я вышел.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Она по-прежнему спала. Мой приход не разбудил ее. Она спала, как маленькая девочка, беззвучно, со спокойным лицом. Я задержался на ней взглядом, потом закурил и вышел на кухню. Я поставил кофе на огонь, вернулся в комнату и

сел на постель. Моя записка по-прежнему лежала на подушке рядом с ключами от машины.

Я нежно потряс ее, ее глаза открылись и заморгали.

— Который час? — спросила она, потягивая свои обнаженные руки. — Господи, я спала, как убитая.

— Пора одеваться. Кофе уже готов. Меня сейчас вызывали в полицию. Ваш тесть в городе, м-с Кинсолвинг.

Она подскочила и впилась в меня глазами, не дыша.

— Его как следует отшил капитан Алессандро. Он не сможет повредить тебе. Этого ты и боялась?

— Он... он сказал, что произошло в Уэстфилде?

— Для этого он и приехал. Совершенный псих — того и гляди самому себе вцепится в глотку. А насчет этого — ты это сделала или нет? То, что они говорят?

— Нет, — ее глаза яростно сверкали.

— Сейчас это не играет роли, в любом случае. Но эта ночь меня не так бы радовала. Как дознался Митчелл?

— Он случайно оказался там или где-то рядом. Господи, газеты были полны этим в течение недель. Узнать меня было нетрудно. Разве в местных газетах об этом не писали?

— Наверно, писали, хотя бы из-за необычного хода суда. Если писали, я пропустил. Наверно, кофе уже готов. Как ты пьешь?

— Черный, без сахара.

— Хорошо. У меня нет ни сливок, ни сахара. Почему ты назвалась Элинор Кинг? Нет, не надо отвечать. Я дурак. Конечно, старый Кинсолвинг знал твое девичье имя.

Я пошел на кухню и налил нам обоим по чашке кофе. Я подал ей кофе в постель, а сам сел в кресло. Наши глаза встретились и стали чужими другу другу. Она поставила чашку.

— Прекрасный кофе. А сейчас посмотри, пожалуйста, в другую сторону, пока я собираюсь.

— Конечно, — я взял книжку со стола и сделал вид, что читаю. Это был детектив, где описывалась со следами пыток на теле мертвая голая женщина. Тем временем Бетти ушла в ванную. Я бросил книжку прямо в корзину для бумаги, поскольку кофейного ведра под руками не было. Потом я задумался

о двух сортах женщин в любви. Одни отдаются с такой само-забвенностью, как Эллиен Вермили, что даже не думают о своем теле. Другие помнят о себе и всегда хотят прикрыться. Я вспомнил девушку в рассказе Анатоля Франса, которая настаивала на том, чтобы снять чулки. В чулках она чувствовала себя потаскушкой. Она была права.

Когда Бетти вышла из ванной, она выглядела, как только что открывшаяся роза. Косметика — верх совершенства, глаза сияли, каждый волосок точно на своем месте.

— Отвези меня, пожалуйста, в отель. Я хочу поговорить с Кларком.

— Ты влюблена в него?

— Я думала, что я влюблена в тебя.

— Это был просто плач в ночи, — сказал я. — Не будем делать из этого больше, чем это было. Есть еще кофе в кофейнике.

— Нет, спасибо, не на пустой желудок. Неужели ты никогда не влюблялся? Не хотел быть с одной женщиной изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год?

— Пошли.

— Как может такой жесткий человек быть таким нежным?

— спросила она с удивлением в голосе.

— Если б я не был жестким, меня не было б в живых. Если бы я не мог быть нежным, мне не стоило б быть в живых.

Я подал ей плащ, и мы вышли к машине. По пути в отель она молчала. Когда мы приехали, я скользнул в уже знакомую стоянку, вынул пять сложенных чеков из кармана и протянул ей.

— Надеюсь, это последний раз мы их перепасовываем. — сказал я, — на них уже износ заметен.

Она посмотрела на них, но не взяла.

— Я думала, это твой гонорар, — сказала она довольно резко.

— Не спорь, Бетти... Ты прекрасно понимаешь, что я не могу взять у тебя денег.

— После этой ночи?

— После ничего. Я просто не могу взять. Я ничего для тебя

не сделал. Что ты собираешься делать? Куда двигаешься? Сейчас ты в безопасности.

— Не представляю. Что-нибудь придумаю.

— Ты влюблена в Брандона?

— Может быть.

— Он бывший гангстер. Он нанял бандита запугать Гобла. Бандит чуть не убил меня. Неужели ты можешь любить такого человека?

— Женщина любит мужчину. А не то, кем он является. И может, он этого не хотел.

— Прощай, Бетти. Я дал все, что мог, но этого было мало.

Она медленно протянула руку и взяла чеки.

— По-моему, ты совсем шальной. По-моему, ты самый шальной человек на моем веку.

Она вышла из машины и удалилась быстрыми, как всегда, шагами.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Я дал ей время пройти сквозь вестибюль и подняться в свой номер. Затем я сам вошел в гостиницу и вызвал м-ра Кларка Брандона по внутреннему телефону. Явонен прошел мимо и глянул на меня сурово, но ничего не сказал.

Мне ответил мужской голос. Это был его голос.

— М-р Брандон, вы меня не знаете, хотя мы вместе поднимались в лифте вчера утром. Меня зовут Филип Марлоу. Я частный детектив из Л.А. и друг мисс Мэйфилд. Я бы хотел переговорить с вами, если б у вас нашлось время.

— Я слышал о вас, Марлоу. Но сейчас я на выходе. Как насчет коктейля в 6 вечера?

— Мне нужно возвращаться в Л.А., м-р Брандон. Я вас не задержу.

— Хорошо, — сказал он нехотя. — Поднимитесь.

Он открыл дверь, большой, высокий, очень мускулистый человек в прекрасной форме, не жесткий и не нежный. Он не предложил мне руки. Он отступил в сторону, и я вошел.

— Вы один, м-р Брандон?

— Конечно. Почему?

— Я бы не хотел, чтобы другие услышали то, что я хочу сказать.

— Что ж, скажите, и покончим с этим.

Он сел на стул и положил ноги на оттоманку. Он прикурил сигарету с золотым ободком от золотой зажигалки. Велика невидаль.

— Я приехал сюда по заданию лосанджелесского адвоката чтобы выследить мисс Мэйфилд и сообщить, где она остановится. Я не знал в чем дело; адвокат сказал, что и он не знает, но действует по поручению солидной юридической фирмы из Вашингтона.

— Вы следили за ней. Ну и что?

— Она установила контакт с Ларри Митчеллом или он с ней, и он смог закогтить ее.

— И многих других женщин время от времени, — сказал Брандон спокойно, — это было его ремесло.

— Было?

Он глянул на меня пустыми холодными глазами.

— Что вы имеете в виду?

— Больше он этим не занимается. Его нет в живых.

— Я слышал, что он покинул отель и уехал в своей машине. Какое это имеет отношение ко мне?

— Вы не спросили меня, откуда я знаю, что его нет в живых?

— Слышь, Марлоу, — он стряхнул пепел с сигареты презрительным жестом. — Может, мне на это наплевать. Перейди к тому, что меня касается, или проваливай.

— Я встретил здесь человека по имени Гобл, который назвался частным детективом из Канзас Сити. Это было написано на его визитных карточках. Что, впрочем, не является доказательством. Гобл меня очень раздражал. Он постоянно следовал за мной. Он продолжал говорить о Митчелле. Я не мог понять, что он хочет. Затем при мне портье вручил вам анонимное письмо. Я видел, как вы читали его и перечитывали. Вы спросили портье, кто оставил его. Портье не знал. Вы даже выудили пустой конверт из урны, затем отправились в лифте наверх в явно испорченном настроении.

С Брандона понемножку слетал его абсолютный покой. Его голос стал более резким.

— Слишком много нос суешь, м-р Частный Детектив. Не думал об этом?

— Дурацкий вопрос. Это мое ремесло.

— Лучше проваливай отсюда, пока ноги целы.

Я засмеялся, и это задело его за живое. Он вскочил на ноги и подошел большими шагами ко мне.

— Слушай, приятель. Я в этом городе влиятельная фигура. Меня не поддевают мелкие прохвосты, вроде тебя. Вон!

— Не хотите услышать продолжения?

— Я сказал: вон!

Я встал.

— Извините. Я старался договориться с вами подобра, похорошему. И не думайте, что я пытаюсь вас шантажировать, как Гобл. Я этим не занимаюсь. Но, если вы меня выкинете, не выслушав, мне придется пойти к капитану Алессандро. Он выслушает.

Он долго стоял, пылая. Затем любопытная усмешка появилась на его лице.

— Ну, положим, он выслушает. Ну и что? Я могу перевести его одним телефонным звонком.

— Нет, не капитана Алессандро. Он не такой хрупкий. Сегодня утром он круто отшил Генри Кинсолвинга, а Генри Кинсолвинг не привык, чтоб его отшивали. Он просто сломал Кинсолвинга пополам несколькими презрительными словами. Вы думает, что вы можете заставить его смириться? Ни в жисть.

— Иисусе, — сказал он, все еще ухмыляясь, — я когда-то знал людей, вроде тебя. Но я так долго жил здесь, я забыл, что их все еще производят. Хорошо, я слушаю.

Он сел, вытащил еще одну сигарету с золотым ободком из портсигара и закурил.

— Сигарету?

— Нет, спасибо. Этот тип, Ричард Харвест — это была ошибка. Ему такая работа не по зубам.

— Совсем не по зубам, Марлоу. Просто дешевый садист.

Вот что получается, когда отвыкаешь от дела. Теряешь ясность суждения. Он мог запугать Гобла до полусмерти, и не касаясь его пальцем. Взял его в твой номер — какой бред! Какая любительщина! Сейчас посмотри на него — ни на что не годен. Будет продавать карандаши врезнос. Выпьем?

— Мы не в таких отношениях, Брандон. Дайте мне окончить. Ночью — той ночью, когда я установил контакт с Бетти Мэйфилд, той ночью, когда вы потурили Митчелла из "Аквариума" — и очень славно потурили, надо признать, — Бетти пришла ко мне в "Ранчо Дескансадо". Тоже ваша собственность, я полагаю. Она сказала, что труп Митчелла лежит в шезлонге на ее балконе. Она предлагала мне всякие красоты, чтобы я от него избавился. Я отправился туда — трупа на балконе не было. Поутру вахтер в гараже сказал мне, что Митчелл уехал на своей машине со всеми девятью чемоданами. Он расплатился по счету и заплатил за неделю вперед, чтобы оставить за собой номер. В тот же день его брошенная машина была найдена на каньоне Лос-Панаскитос. Ни чемоданов, ни Митчелла.

Брандон сверлил меня глазами, но не говорил ни слова.

— Почему Бетти Мэйфилд боялась рассказать мне, что ее пугало? Потому что присяжные нашли ее виновной в убийстве — в Уэстфилде, Северная Каролина — а затем вердикт был аннулирован судьей, имевшим такое право по законам Каролины. Но Генри Кинсолвинг, отец ее погибшего мужа, сказал, что он будет следовать за ней повсюду и что она нигде не найдет покоя. И вдруг она находит мертвеца на балконе. Менты расследуют, и вся история выплывает наружу. Она в страхе и смятении. Она думает, что два раза подряд ей не может повезти. Ведь присяжные нашли ее виновной.

Брандон сказал тихо:

— Он сломал себе шею. Он упал с моей террасы. Ей это было не по силам. Выйдем. Я покажу.

Мы вышли на широкую солнечную террасу. Брандон прошагал к боковой стенке, я посмотрел вниз и увидел шезлонг на балконе Бетти Мэйфилд.

— Стенка не очень высокая, — сказал я, — тут легко упасть.

— Я того же мнения, — сказал Брандон спокойно. — Предположим, что он стоит так, — он стал спиной к стенке. Он свободно мог сесть на нее, Митчелл тоже был высоким. И зазывает Бетти поближе, чтобы полапать ее, и она толкает его изо всех сил, и он летит вниз. И так выходит — по воле случая, — что при падении он ломает шейные позвонки. Именно так умер и ее муж. Трудно ее винить, что она запаниковала.

— Я никого не виню, Брандон, даже вас.

Он отступил от стенки и молча посмотрел на море. Затем он повернулся ко мне.

— Только в том, — сказал я, — что вы отделались от трупа Митчелла.

— Ну, как, во имя всех святых, я мог это сделать?

— Вы и рыбак, кроме прочего. Готов биться об заклад, что здесь найдется крепкий длинный шнур. Вы сильный человек. Вы могли спуститься на балкон Бетти. Вы могли пропустить шнур под мышками Митчелла, у вас хватило бы сил опустить его на землю, под прикрытие кустов. Затем вы могли взять ключ из его кармана, спуститься в его номер, собрать вещи и отнести вниз в гараж, — или в лифте, или по лестнице. Пришлось бы сходить три раза — не страшно. Затем вы могли вывести "бьюик" из гаража, вы, наверно, знали, что вахтер клячет и что он не проболтается, если он знает, что вы знаете. Затем вы могли бы подъехать на "бьюике" к трупу, бросить его внутрь и уехать в каньон Лос-Пенаскитос.

Брандон желчно засмеялся.

— Вот почему я очутился в каньоне Лос-Пенаскитос с машиной, мертвецом и девятью чемоданами. Как я выберусь оттуда?

— Вертолетом.

— Кто его поведет?

— Вы. Пока вертолеты не проверяют, но начнут, потому что их становится все больше. Вы могли приказать, чтобы вам подали вертолет в каньон Лос-Пенаскитос, вы могли послать кого-нибудь подобрать летчика. Человек в вашем положении может сделать почти все на свете.

— А что потом?

Вы загрузили труп Митчелла и его чемоданы в вертолет, вылетели в море, а когда вертолет парил над водой, вы могли выбросить труп и чемоданы и отправиться обратно в гелипорт. Аккуратное, чистое, хорошо организованное дельце.

Брандон рассмеялся бурно — слишком бурно. Смех казался вымученным.

— Думаешь, я такой идиот, что пойду на это для бабы, которую я толком и не знаю?

— Хм-м. Холодно, Брандон. Вы это сделали для себя. Вы забываете Гобла. Гобл приехал из Канзас Сити. Как и вы.

— Ну и что?

— Ничего. Но Гобл приехал не для того, чтобы прокатиться, и Митчелла он не искал, а он знал его раньше. Они вдвоем обмозговали и решили, что нашли золотую жилу. Вы были их золотой жилой. Но Митчелл помер, и Гобл попытался вернуть дельце в одиночку. Он был мышью, потянувшей на тигра. Но захотели бы вы объяснить, как Митчелл упал с вашей террасы? Выдержали бы вы расследование вашего прошлого? Для полиции было бы самым очевидным предположение, что вы столкнули Митчелла с террасы. И даже если бы они не смогли это доказать, что стало бы с вашим положением в Эсмеральде?

Он медленно прошелся по террасе туда и обратно. Он встал передо мной, его лицо было лишено всякого выражения.

— Я мог бы убить тебя, Марлоу. Страшное дело, я прожил здесь столько лет, и теперь я уже не тот, что был. Ты меня расколол. Мне нечего сказать в свою защиту, разве что убить тебя. Митчелл был гнусной тварью, он шантажировал женщин. Может, ты и прав по своей линии, но я не испытываю сожаления. И не исключено, поверь, все же не исключено, что я лез из кожи вон, чтобы помочь Бетти Мэйфилд. Не думаю, что ты согласишься, но это все не исключено. Сейчас договоримся. Сколько?

— Сколько за что?

— За то, что не пойдешь к ментам.

— Я уже сказал, сколько. Ничего. Я просто хотел знать, что произошло. Я был примерно прав?

— Совершенно прав, Марлоу. Прямо в точку. Они еще, может, доберутся до меня.

— Может быть. Что ж, я сейчас уберусь с вашего пути. Как я сказал — я хочу вернуться в Л.А. Мне могут предложить работешку за гроши. Жить-то надо, а?

— Пожмем руки?

— Нет. Вы подослали убийцу. Это исключает вас из класса людей, с которыми я обмениваюсь рукопожатиями. Я был бы мертв, если бы не предчувствие.

— Я не посылал его на убийство.

— Вы его наняли. Прощайте.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Я вышел из лифта. Явонен, казалось, поджидал меня.

— Зайдем в бар, — сказал он, — мне нужно поговорить с вами.

Мы зашли в бар, где в этот час царила тишина. Мы сели за угловой столик. Явонен сказал тихо:

— Вы считаете меня сволочью, а?

— Нет. У вас свое ремесло. У меня свое. Мое разряжало вас. Вы мне не доверяли. Это еще не делает вас сволочью.

— Я стараюсь защитить отель. Кого вы стараетесь защитить?

— Трудно сказать. Даже если легко сказать, трудно сделать. Я просто кручусь вокруг и выставляю себя на посмешище. Зачастую я просто не справляюсь.

— Я слышал — от капитана Алессандро. Если это не слишком личный вопрос, сколько вы получаете за такое дело?

— Ну, это была несколько необычная ситуация, майор. Получилось так, что я ничего не заработал.

— Отель заплатит вам 5000 долларов за защиту его интересов.

— Отель, в смысле м-р Кларк Брандон.

— Надо думать. Он — хозяин.

— Как сладко это звучит — пять тысяч долларов. Сладкий звук. Я буду внимать ему по пути в Л.А. Я встал.

— Куда послать чек, Марлоу?

— В Фонд помощи нуждающимся полицейским, например. Менты много не зашибают. Когда они в беде, они обращаются в Фонд. Да, я думаю, Фонд помощи нуждающимся полицейским был бы вам благодарен за поддержку.

— Но не вы?

— Вы были майором в разведке. У вас, наверняка, было много возможностей погреть руки. Но вы все еще на зарплате. Полагаю, что мне пора в путь.

— Послушай, Марлоу. Не будь дураком. Я тебе скажу...

— Скажи самому себе. Твоим слушателям будет некуда деться. Желаю удачи.

Я вышел из бара и сел в машину. Я поехал в "Дескансадо" и забрал свои шмотки, остановился у конторы расплатиться по счету. Джек и Люсиль были на своих обычных местах. Люсиль улыбнулась мне.

Джек сказал:

— Никаких счетов, м-р Марлоу. Я получил указания. И мы просим прощения за прошлую ночь. Но наши извинения не так уж многого стоят, а?

— Сколько я был бы должен?

— Не много. Может, 12.50

Я положил деньги на конторку. Джек посмотрел на деньги и нахмурился.

— Я, сказал, что никаких счетов, м-р Марлоу.

— Почему? Я занимал номер.

— М-р Брандон...

— Некоторые люди никогда не научатся, а? Приятно было познакомиться с вами. Выпишите, пожалуйста, квитанцию. Это снимается с налогов.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Я ехал не быстрее 160 км/час по пути в Лос-Анджелес. Ну может, иногда я и доходил до 180 км/час на несколько секунд там и сям. На Юкка авеню я завел "Олдс" в гараж и сунул нос в почтовый ящик. Как обычно, ничего. Я поднялся по длинной лестнице красного дерева и отпер дверь. Все было на

месте. Комната была душной, скучной и безличной, как всегда. Я открыл окна и смешал себе коктейль на кухне. Я сел на диван и уставился в стену. Куда бы я ни пошел, что бы я ни делал, к этому мне суждено возвращаться. Голая стена в бессмысленной комнате в бессмысленном доме.

Я поставил стакан на столик, не прикасаясь к содержимому. Алкоголь не сулил исцеления. Исцеления не было — лишь суровое сердце, которое ничего ни от кого не хотело.

Зазвонил телефон. Я взял трубку и сказал пустым голосом

— Говорит Марлоу.

— М-р Филип Марлоу?

— Да.

— Вас вызывает Париж, м-р Марлоу. Я перезвоню вам через минуту.

Я медленно положил трубку. Моя рука тряслась. От слишком быстрой езды или недосыпа.

Оператор соединил нас через 15 минут.

— Париж на проводе, говорите, сэр. Если будут помехи, вызовите вашего оператора.

— Это Линда. Линда Лоринг. Ты помнишь меня, милый?

— Разве я мог забыть?

— Как ты?

— Устал — как всегда. Только что вернулся с очень изматывающего дела. Как у тебя?

— Одиноко. Одиноко без тебя. Я старалась тебя забыть. Но я не в силах. Наша любовь была прекрасной.

— Это было полтора года назад. И длилась одну ночь. Что я могу сказать?

— Я была тебе верна. Не знаю, почему. В мире полно мужчин, но я была верна тебе.

— Я не был тебе верен, Линда. Я не думал, что когда-либо увижу тебя. Я не подозревал, что ты ожидала от меня верности.

— Я не ожидала. Я не ожидаю. Я просто хочу сказать, что я люблю тебя. Давай поженимся. Ты сказал, что наш брак не протянет и полугода. Но почему бы не рискнуть? Кто знает — он может оказаться нерушимым. Что еще должна сделать женщина, чтобы заполучить мужчину?

— Не знаю даже, зачем он ей. Мы живем в разных мирах. Ты богатая женщина, ты привыкла, чтобы тебя баловали. Я старый битюг с сомнительным будущим. Твой отец постарается, чтобы у меня и этого будущего не было.

— Ты не боишься моего отца. Ты никого не боишься. Ты боишься только брака. Мой отец может понять настоящего мужчину. Прошу тебя, прошу тебя, прошу тебя. Я в "Ритце". Я тебе немедля высылаю билет на самолет.

Я рассмеялся.

— Ты мне вышлешь билет? За кого ты меня принимаешь? Я тебе вышлю билет на самолет. Это даст тебе время передумать.

— Но, милый. Мне не нужно, чтоб ты посылал мне билет. У меня...

— Само. У тебя хватит денег на пятьсот билетов. Но это будет мой билет. Бери его или не прилетай.

— Я прилечу, милый. Я прилечу. Обними меня. Обними меня покрепче. Я не хочу владеть собой. Никому это не дано. Я только хочу любить тебя.

— Я буду здесь. Я всегда здесь.

— Обними меня.

— Сожми меня в своих объятиях.

Телефон щелкнул, загудел, связь прервалась.

Я потянулся за стаканом. Я оглядел вновь пустую комнату — пустоты не было. Звучал голос, возникла высокая, стройная, любимая женщина. На подушке в спальне покоилась темнокудрая голова. Мягкий, нежный аромат женщины, которая прижимается к тебе, ее губы мягко отдаются, глаза полузакрыты.

Телефон вновь зазвонил. Я сказал:

— Да?

— Говорит Клайд Амни, адвокат. Я не получил от вас удовлетворительного отчета. Не для того я вам плачу, чтобы вы развлекались. Я требую полного отчета в том, что вы делали с тех пор как вернулись в Эсмеральду.

— Развлекался, как мог, — за собственный счет.

Его голос повысился до окрика:

— Я требую немедленного полного отчета. Иначе я позабочусь, чтобы вас лишили прав.

— У меня есть к вам предложение, м-р Амни, Поцелуйте-ка вы себя в задницу.

Раздались звуки сдавленной ярости. Я повесил трубку. Почти немедленно телефон зазвонил снова.

Я почти не слышал звонка. Воздух был полон музыки сфер.



Владимир МАТЛИН

УПЛОТНЕНИЕ

Стараясь не морщиться, Дейвид смотрел в тарелку, которую поставила перед ним жена. Он не хотел обижать Нэнси, это была не ее вина, что каждое утро на завтрак она подавала хлеб, джем и бурый напиток, который можно было, по желанию, считать заменителем кофе или заменителем чая.

Они молча сидели друг против друга за тесным столиком в спальней на первом этаже. Конечно, они могли есть и в столовой, они имели на это право, поскольку столовая была "местом общего пользования", но Нэнси не хотела видеть за завтраком "этих людей".

Дэйвид взглянул на часы и прервал молчание:

— Пожалуй, двинусь. Выйду пораньше, дойду не спеша.

— Подожди, — Нэнси прислушивалась к звукам в доме, "кофе-чай" остывал нетронутый. — Подожди, а то нарвешься на нее. По-моему, она торчит в прихожей, караулит тебя.

— Меня? Что ей нужно?

— Не говорит. Вчера в кухне три раза спрашивала: "Когда

придет доктор Шинкар?" "А зачем он вам?" "Так, говорит, посоветоваться надо..."

— Со мной? — Дейвид уставился на жену в полной растерянности. — О чем нам говорить?

Некоторое время он топтался на месте, не решаясь выйти из комнаты.

— А, может, это насчет ее старшего, как его?..

— Лион, кажется. А что с ним?

— Я просто предполагаю. Он учится в нашем университете.

Раздался стук в дверь — не громкий, но отчетливый и продолжительный. Это было неожиданно: никаких шагов за дверью они не слышали. Они переглянулись, и Нэнси открыла дверь.

В дверном проеме, не решаясь войти в комнату, стояла невысокая толстая негритянка в желтой майке и синих шортах в обтяжку. Ее круглое черное лицо светилось добродушной улыбкой.

— Я извиняюсь, я боюсь пропустить доктора Шинкара, мне нужно с ним поговорить.

— Со мной? — спросил Дейвид холодно. — Заходите.

Женщина несмело вошла и остановилась посреди комнаты. Дейвид заметил в ее руке несколько свернутых в трубочку разноцветных бумаг.

— Это — метрики, свидетельства о рождении моих детей, — она протянула бумаги Дейвиду. — Здесь сказано, что я одинокая, не замужем.

Дейвид попятился и поднял руки:

— Зачем это?

— Как мне жить-то, доктор Шинкар? Ведь у меня трое детей. Ну, Лион уже большой, студент, но все равно живет с нами. Ванессе четыре года, да и Клиффу всего девять, за ним смотреть надо. А они пособие отняли, иди, говорят, работай. Кто же с детьми будет?

— Послушайте, Сильвия... верно, вас зовут Сильвия?.. Может вы присядете и объясните, в чем дело?

— Спасибо, доктор Шинкар.

Она с трудом втиснулась за маленький столик, из-за кото-

рого раньше встала Нэнси. Во время разговора Нэнси стояла в углу — молча, неподвижно, с прикрытыми глазами.

— Как-то ни разу не было случая познакомиться с вами, хотя уже два месяца живу в вашем доме... в этом доме, — поправилась Сильвия. — Вот миссис Шинкар я вижу на кухне. У нас хорошие отношения, верно?

Она взглянула на Нэнси, но та не шевельнулась, даже не подняла глаз.

— Да, да, я знаю, — поспешно сказал Дейвид. — А чем же я могу быть вам полезен?

— О, доктор Шинкар, это такая проблема! Я прямо не знаю, как дальше жить. Вчера было первое число, и я пришла в городской собес за моим чеком. Еле добралась, знаете, автобусы, как взбесились, все не туда... В общем, добралась, вхожу, а там внизу толпа женщин стоит. Я некоторых знаю, жили по соседству раньше, ну, до переселения. Что, говорят, за чеком пришла? Будет тебе, увидишь... Я подхожу к окошечку, подаю удостоверение получателя, а она... ну, эта, социальный работник, прячет мое удостоверение и говорит: "Чека тебе нет! А за удостоверением ступай наверх, к товарищу Санчесу, комната триста один". Бегу наверх, сама не своя от страха. Выставляю очередь — все женщины. Вхожу в кабинет к этому товарищу... Ну и смех, не поверите. Он по-английски говорит — умереть можно! "Ваш имья, гграждака". Потеха! Потом достает мое удостоверение на получение вэлфера и рвет на мелкие кусочки. Так неспеша... Я говорю: ты что делаешь? А он говорит: все, хватит сидеть на шее общества. Иди работать! Я говорю: не могу работать, у меня дети. А он говорит: у всех дети, это ничего, устраивайся на работу с детсадом. А у меня профессии нет, я как в пятнадцать лет родила — с тех пор на вэлфере. А он говорит: это воспы и жида вас развратили, а народная власть этого не потерпит. Если, говорит, за месяц не устроишься, арестуем и пошлем на принудительные работы.

Сильвия горестно развела руками и все так же добродушно улыбнулась.

— Да, ситуация, — вымолвил Дейвид и взглянул на Нэнси, безучастно смотревшую в сторону. — Видимо, такова полити-

ка народной власти в этом вопросе. Я не обсуждаю, хорошо это или плохо, я лишь констатирую факт. Во всяком случае, я не вижу, что можно посоветовать.

— Мне женщины в очереди сказали, надо жалобу подать. Это же народная власть, она должна помочь. Вот я и решила попросить вас, пожалуйста, напишите жалобу, чтобы они там разобрались. А то как же мне с детьми?

— Конечно. Но почему, собственно, я?

— Кого же мне еще просить? Я сама, конечно, писать умею, но, знаете, не так хорошо, а тут надо все как следует. Вы ведь профессор...

— Я, Сильвия, профессор математики, я не юрист, я в этих делах не разбираюсь. Вернее, не больше, чем любой другой. Вы с таким же успехом могли обратиться... ну, хотя бы к вашему сыну, студенту...

— Нет, нет! Что вы! Лион не должен об этом знать! — она замахала обеими руками, и улыбка соскочила с ее широкого лица. — Он во всем с ними согласен. Он очень будет недоволен, если я пожалуюсь.

Дейвид отчетливо представил себе Лиона: угрюмое лицо, взгляд исподлобья, тяжелые опущенные плечи.

— Я понимаю, доктор Шинкар, вам это вовсе ни к чему, — тон ее стал серьезным и грустным, она больше не улыбалась. — Но мне не к кому обратиться. А когда случилось... когда установилась народная власть... Сами знаете, топить перестали, ремонта не дожدهшься... Мы всю зиму мучались. А потом всех переселили в пригороды, в частные дома. В порядке у п л о т н е н и я...

Она посмотрела на Нэнси и вздохнула.

— Я ведь понимаю, что вы чувствуете. Посторонние люди в доме, неудобства, дети шумят... Кому это понравится? Но ято в чем виновата? Я бы с радостью вернулась в свою квартиру, если бы там топили. И починили водопровод. И окна заделали, а то ведь невозможно. А тут еще и пособия лишают...

— Хорошо, хорошо, — сказал Дейвид, — конечно, я вам помогу с этой жалобой. Только все от вашего имени, я просто оформлю...

Он быстро присел к компьютеру (раньше в этой комнате был кабинет), отключил компьютер от университетской системы и посреди экрана напечатал заглавными буквами: "ЖАЛОБА".

— А теперь, Сильвия, давайте все по порядку. Только не очень быстро!

Печатая, Дейвид старался не смотреть на Нэнси, которая так и стояла молча в углу комнаты. А когда примерно часом позже Сильвия, снова улыбаясь и благодаря доктора Шинкара и миссис Шинкар, вышла из комнаты, Нэнси прошипела сдавленным, незнакомым голосом:

— Черная свинья.

У Дейвида перехватило дыхание.

— Ты с ума сошла! Как ты можешь? — выкрикнул он задыхаясь.

Он схватил портфель и бросился к выходу. Что происходит с людьми? Это его Нэнси!

В дверях Дейвид наткнулся на Лиона. В ответ на извинения Лион посмотрел на Дейвида угрюмым взглядом и молча повернулся к нему широкой спиной.

* * *

Когда Дейвид выскочил на улицу, было без четверти десять, до заседания кафедры оставалось пятнадцать минут. Он с тоской взглянул на запаркованную возле дома "тайоту" (майские талоны на бензин кончились неделю назад) и припустил со всех ног. Он почти бежал по улицам Кембриджа и все равно опоздал.

Заседание шло полным ходом, когда Дейвид плюхнулся на стул возле двери. Кровь стучала в висках, он тяжело дышал и некоторое время не мог включиться в разговор.

Однако довольно скоро до него дошло, что ведет заседание не заведующий кафедрой, а ректор университета. Новый ректор появился в университете в конце прошлого года; он был назначен на свою должность народным советом. Этот тип явно не имел никакого отношения к науке. Про него говори-

ли, что он профсоюзный деятель из Детройта; а другие рассказывали, что он входил в солдатский революционный комитет, который два года назад в Техасе начал переговоры с мексиканским правительством. Понять по его произношению, откуда он родом, было невозможно: его речь была лишена всяких особенностей. Впрочем, как и то, что он говорил.

Дейвид заставил себя прислушаться к потоку стертых слов. Это были обязательные призывы воспитать новое поколение в духе идеалов народной революции, для чего было необходимо, во-первых, повысить качество преподавания, во-вторых, строго проводить в жизнь принципы народно-революционного порядка, в-третьих, укрепить руководство научными кафедрами в духе...

Дэйвид ощутил какое-то смутное беспокойство и в следующий момент понял, что его тревожило с самого начала: на заседании отсутствовал Дик — заведующий их кафедрой, Ричард Уорт. Дейвид с тревогой стал смотреть по сторонам, но его коллеги хмуро отворачивались.

— Ввиду вышеизложенного, — сказал ректор, — и принимая во внимание специфику сегодняшнего момента, равно как и перспективные интересы народно-революционного движения, руководство университета приняло решение назначить заведующим кафедрой теоретической и прикладной математики вашего коллегу, опытного работника образовательного фронта, товарища Эдварда Джеймса.

Кто-то громко прыснул. Дэйвид и сам еле выдержал; еще бы, этот Джеймс, вечный аспирант, считался на кафедре полной бездарью. Уже несколько лет он писал диссертацию об историческом значении Эвклида и держался тем, что выполнял в управлении университета разные малоинтересные административные функции. Да еще тем, что Дик Уорт, ученый вполне стоящий, питал человеческую слабость к подхалимам.

Ректор предоставил слово новому председателю, и Дэйвид с брезгливым любопытством уставился на Джеймса. Этот обычно шустрый парень чувствовал себя сегодня не в своей тарелке. Он промямлил что-то об оказанной ему чести и о необходимости воспитывать новое поколение в духе идеалов

укрепления революционно-народной дисциплины и перешел к расписанию экзаменов.

Преподаватели угрюмо молчали, стараясь не глядеть друг на друга. Бездарный аспирант в роли заведующего кафедрой! Но страшнее было другое: что случилось с Диком, где он?

Дейвида толкнули в плечо, он обернулся и увидел, что Кен Мейсон протягивает ему записку. "Встретимся после заседания возле третьей категории", — прочел Дэйвид.

* * *

"Третья категория" — это была столовая для профессорско-преподавательского состава. Первая категория — для руководства университета, вторая — для руководителей кафедр и деканов, третья — для преподавателей, четвертая или "общая" — для студентов. Когда в прошлом году ввели эту градацию, все были возмущены, и студенты пробовали устроить забастовку. Однако городские власти прислали отряд кубинских солдат, и порядок был моментально восстановлен: все знали, что с кубинцами шутки плохи...

За год к этой иерархии питания все привыкли, тем более что доставать еду — любую еду — становилось все труднее.

Дэйвид встретил Кена Мейсона возле входа в столовую. Они предъявили свои пропуска-карточки, вошли в зал, взяли по подносу и стали в конец очереди. Собственно, очередь не была такой уж длинной, но двигалась медленно, потому что, прежде чем получить свой обед, каждый должен был сделать отметку в пропуске-карточке — чтобы не получали по несколько раз.

Дэйвид и Кен стояли молча: говорить о пустяках они не могли, а то, что их волновало, нельзя было обсуждать публично. Наконец они получили свой обед: гороховый суп и вареную картошку с маргарином (второй категории выдавали к картошке кусок вареного мяса, а четвертой не полагалось и маргарина) — и устроились за маленьким столиком, у выхода на веранду.

Дейвид посмотрел по сторонам и быстро спросил:

— Что с ним?

Кен пожал плечами:

— Нетрудно догадаться..

— Ты хочешь сказать, что...

— А что еще? Неделю человек не ходит на работу, дома его тоже нет. Исчез...

Оба замолчали. Дэйвид быстро хлебал суп, склонившись над тарелкой, Кен принялся за картошку. С веранды, где помещалась "четвертая категория", доносились громкие голоса студентов. Молодость есть молодость, даже если питается картошкой без маргарина...

Неожиданно Дэйвид бросил ложку на стол и, жестикулируя, заговорил прерывающимся шепотом:

— Логика, логика их постичь не могу! Ну, что им Дик?! Кабинетный ученый, человек вне политики — чем он им мешал?

Кен снова пожал плечами:

— А почему ты так уверен, что должна быть какая-то логика?

— Ну, как же... Сначала брали офицеров и политических деятелей, потом крупных предпринимателей и священников... Я, разумеется, с этим не согласен, но в этом была какая-то логика, А теперь — кого попало... Почему?

— Очень просто, — Кен тоже перестал есть. — Когда берут офицеров — боятся офицеры, священников — боятся священники. А так боятся все.

— О, оставь! Не надо только представлять их какими-то злодеями. У них есть своя цель. Пусть мы с ней не согласны, но цель существует.

Кен ничего не ответил и принялся за суп.

— Я не понимаю происходящего, — снова заговорил Дэйвид. — Почему, например, они выбрали этого Джеймса? Мало того, что бездарь, он к тому же человек правых взглядов. Казалось бы — совсем им чужой... Ты можешь это понять?

Кен фыркнул и резко отодвинул тарелку с недоеденным супом.

— А я не хочу их понимать! Не хочу, и все! Это бандиты, грабители на дороге — почему я должен вникать в их психологию?

Кен говорил с нарастающим возбуждением. Дейвид не видел его таким. Все это совершенно не вязалось с его обликом сутулого, неловкого профессора с постоянной скептической улыбкой.

— Ты, Дэйвид, стараешься постичь их логику, понять цель. А их просто нет — ни логики, ни цели. Грабить — это цель? Тебя грабят, а ты озабочен психологией грабителя. Не обижали ли его в детстве? Типичное слюнтяйство!..

Этот тон начал раздражать Дэйвида.

— Сам-то ты давно стал таким... решительным?

— Представь себе, мне всегда не нравился твой взгляд на грабителя, как на жертву общественной несправедливости. Когда меня грабят — извини, я не могу чувствовать себя виноватым. И к счастью, не только я. Уверен, так же думают те люди... ты знаешь, кого я имею в виду... там, на севере, в Белых горах.

Дейвид вздрогнул и оглянулся. Студенты на веранде упивались картошкой без маргарина, за соседним столом никого не было. Дейвид облегченно перевел дух: даже упоминание вслух о существовании сопротивления было в высшей степени опасно.

Оба замолчали. Обед был доеден, и пауза становилась нестерпимой.

— Я пойду, пожалуй, — сказал Кен, вылезая из-за стола.

Дейвид смотрел ему вслед, пока он шел к выходу. У самой двери Кен остановился, потоптался в нерешительности и снова вернулся к столу.

— Слушай, Дейвид, я не хотел бы... я надеюсь... — Вся его нескладная фигура выражала замешательство. — Пожалуйста, передай привет Нэнси, — выдавил он наконец из себя. — Как она там? Как переносит уплотнение?

... Домой Дэйвид шел медленно. Много раз, как на магнитофоне, проигрывал он в памяти разговор с Кеном. Пятнадцать лет он знал этого человека и думал, что хорошо знал. А он оказывается другим...

Собственно, почему другим? На это можно посмотреть и иначе: пятнадцать лет он был таким, каким был, а изменились обстоятельства — изменился и он. Просто под давлением обстоятельств — что ж тут невозможного?

Зачем далеко ходить за примером — его Нэнси! Дейвид опять с ужасом вспомнил, как она прошипела "черная свинья" И это была его Нэнси — утонченная, интеллигентная женщина, автор двух книг о Тициане, воспитанная в либеральной бостонской семье. Это была та же Нэнси, но прошедшая через у п л о т н е н и е...

Вообще, не праздный ли это вопрос, каков человек н а с а м о м д е л е? Меняется ли он в зависимости от обстоятельств, или обстоятельства выявляют то, что в нем есть? Впрочем, кибернетик на это мог бы сказать: неважно, что происходит в "черном ящике", важно, что мы получаем на выходе..

Размеренная ходьба успокоила Дейвида. Солнце уже зашло за верхушки деревьев, и в закатном свете белые пригородные домики казались чистыми и счастливыми. Автомобилей на дорогах почти не было, и Дейвид шагал посреди улицы. Около соседнего дома он заметил запаркованный микроавтобус и подумал, что вот у кого-то все-таки хватает бензина, чтобы ездить в гости.

Он свернул к своему дому и, когда до входа оставалось шагов двадцать, дверь с грохотом распахнулась, и на крыльцо выскочила Сильвия.

— Назад! Бегите! Бегите! — она махала руками, словно отгоняя его от дома. — Они вас ждут, бегите!

Дейвид повернулся — и увидел, как из запаркованного автобуса выпрыгнул солдат и бегом направился в его сторону.

— Бегите! Ради Бога, бегите!

В полной растерянности он шагнул к дому, но в этот момент из двери на крыльцо выскочил незнакомый человек в кожаной куртке и, отшвырнув Сильвию, подскочил к Дейвиду.

— Дейвид Шинкар? — спросил он тяжело переводя дух. — Имя, спрашиваю, Дейвид Шинкар?

— В чем дело? — сказал Дейвид еле слышным осипшим голосом.

— Я из КЭ ЭН БЭ, — и человек сунул ему под нос красную книжицу.

"Комиссия Народной Безопасности", — прочел Дейвид и снова спросил:

— В чем дело?

— А вот сейчас пойдете со мной, там вам все объяснят.

Дейвид почувствовал, как за его спиной стал солдат. Он покосился через плечо и увидел кубинскую форму и советский автомат. До него едва доходили слова Сильвии: "Я и подумать не могла! Я им показываю жалобу, а они говорят: это клевета на народный строй, кто писал? Я говорю: я написала, а они говорят: врешь, мы выясним".

"Кожаный" сказал что-то солдату по-испански, и тот пошел к автобусу. Дейвид не отрываясь смотрел на дверь: где Нэнси, что с ней? В это время она, наверняка, должна быть дома.

Он вздрогнул, когда дверь открылась. На крыльце показался Лион. Не глядя на Дейвида, он сошел с крыльца и стал за спиной матери. А та продолжала возбужденно говорить:

— Клянусь Богом, доктор Шинкар, я ничего им не сказала! Я говорю им: сама написала жалобу и все! Они подумали, что Лион, стали его расспрашивать, а он сказал на вас. Простите, доктор Шинкар, ради Бога, простите его!

— Хватит тебе! — сказал Лион за ее спиной. — Хватит распинаться перед жидами.

— Заткнись, сволочь! — крикнула Сильвия и замахнулась на сына. — Доктор Шинкар здесь ни при чем, слышите, сэр, — она обращалась к человеку в кожаной куртке, который стоял вплотную к Дейвиду, наблюдал, как солдат подает задним ходом автобус по гравиевой дорожке к дому. — Это моя жалоба, я пойду с вами.

— Прекрати! — сказал "кожаный", не поворачивая головы. — Эй, ты, студент... как тебя? Уведи мать, а то она у меня дождется...

— Вы народная власть, — не унималась Сильвия, — вы должны по справедливости!

Автобус остановился в двух шагах от Дейвида. Не заглушив мотора, солдат выбрался наружу, обошел автобус, повесил автомат на плечо и распахнул заднюю дверь. За ней была вторая, зарешеченная, — повозившись с замком, он открыл и ее.

"Вот и все", — с тоской подумал Дейвид. Он еще раз взглянул на окно: ему показалось, что Нэнси стоит за занавеской.

— Пойдем в дом, — сказал Лион и потянул мать за руку. Та резко вырвала руку. Вдруг одним прыжком она подскочила к солдату, вцепилась обеими руками в висевший у него на плече автомат и изо всей силы дернула книзу. От неожиданности солдат потерял равновесие и упал, увлекая за собой Сильвию.

— Бегите, доктор Шинкар, бегите! — кричала она, стараясь подsunуть автомат под себя.

С проклятиями "кожаный" бросился к упавшей Сильвии и наступил ботинком на ее руку. Она завизжала, но автомат не выпустила.

Мотор работал, дверца водителя была распахнута. На мгновение Дейвид забыл обо всем на свете — он видел только эту распахнутую дверцу. Внутри он ощутил странную легкость; не было ни страха, ни чувства опасности. Почти не сознавая, что делает, он впрыгнул на место водителя, захлопнул дверцу и выжал сцепление. Автобус швырнул колесами гравий и рванул с места.

За несколько секунд на полном ходу Дейвид домчался до конца улицы и, не сбавляя газа, со скрежетом свернул за угол. И тогда он услышал, как где-то сзади грохнул выстрел.

Дейвид уже мчался по шоссе, когда сознание начало возвращаться к нему. Радио здесь, в автобусе. Телефоны в окрестных домах давно не работают. Машины у всех стоят с пустыми баками. Значит, пройдет еще немало времени, прежде чем они поднимут тревогу. Вряд ли они смогут что-нибудь предпринять до утра.

Дейвида бил озноб. Чтобы унять дрожь в руках, он сильнее сжал руль автобуса. Неужели все это действительно произошло? Неужели это все случилось с ним?

Но радости он не ощущал: где-то в глубине сознания шеве-

лилась страшная мысль, заставлявшая снова и снова вспоминать всю картину побега. Наконец он понял, что его тревожило: выстрел. Выстрел раздался, когда он уже свернул за угол, то есть скрылся у них из вида. Притом это был одиночный выстрел, а не очередь. Так стреляют в упор. Нет, это стреляли не по нему...

Потом! Потом он все разузнает, а сейчас он не имеет права об этом думать! Он должен сосредоточиться, вспомнить все объезды и боковые дороги, рассчитать время... Но он ничего не мог сделать со своим воображением, которое возвращалось к одному и тому же: лужа крови на гравии и распростертая фигура в синих шортах и желтой майке...

Стемнело, но Дейвид не включал фар и не сбавлял скорости. В сгущающейся темноте он мчался по пустынному шоссе, ведущему на север, к Белым горам.

Владимир СОЛОВЬЕВ, Елена КЛЕПИКОВА

**БОРЬБА В КРЕМЛЕ —
ОТ АНДРОПОВА ДО ГОРБАЧЕВА**

Одновременно с американским изданием (издательство "Додд, Мид"), весной 1986 г. "Время и мы" выпускает книгу Владимира Соловьева и Елены Клепиковой "Борьба в Кремле — от Андропова до Горбачева".

Для русского издания авторы предоставили дополнительные материалы, не вошедшие в английское издание книги. Авторы — журналисты и политологи, постоянно выступают во многих американских газетах ("Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост", "Дейли Ньюс", "Чикаго Трибюн" и др.). Их перу принадлежит вышедшая в издательстве "Макмиллан" и широко нашумевшая книга "Андропов"

СОДЕРЖАНИЕ

**ПРЕДЕЛЫ ПОНИМАНИЯ: ЧТО МИР ЗНАЕТ О КРЕМЛЕ И ЧТО
КРЕМЛЬ — О МИРЕ**

**О ТОМ КАК СТРАНА УПРАВЛЯЛАСЬ СО СМЕРТНОГО ОДРА
ДУЭЛЬ У ГРОБА АНДРОПОВА, ИЛИ О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО
В КРЕМЛЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ МЕЖДУ ЕГО СМЕРТЬЮ И ЕГО
ПОХОРОНАМИ**

ИНТЕРМЕЦЦО С КОНСТАНТИНОМ ЧЕРНЕНКО

ТАЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИМПЕРИИ — КГБ

**ГАМЛЕТОВЫ СОМНЕНИЯ КРЕМЛЯ: КАК БЫТЬ С ПОЛЬШЕЙ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ КРЕМЛЕВСКИХ МАФИЙ, ИЛИ ПОЧЕМУ
В КРЕМЛЕ НЕТ ЕВРЕЕВ, ЖЕНЩИН, МОСКВИЧЕЙ И ВОЕННЫХ?**

КОРОЛЬ УМЕР — ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ

**ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТАВРОПОЛЬСКИЕ ПЕНАТЫ**

БАЛОВЕНЬ ПОЛИТБЮРО

ТЕНЬ СТАЛИНА НАД КРЕМЛЕМ

КРЕМЛЬ, ИМПЕРИЯ И НАРОД, ИЛИ ПАРАДОКС НАРОДОВЛАСТИЯ

Цена по предварительным заказам — 14 долларов.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We

475 Fifth ave, suite 511-A

New York, New York 10017



Михаил КРЕПС

ВРЕМЯ ОСТАНОВИЛОСЬ

Я молод, и время остановилось.
Можно смотреть в окно на покрытые солнцем ветки,
Можно читать увлекательные романы из чужой жизни
Или наблюдать, как растворяется сахар в стакане.

Никуда не нужно спешить — время остановилось.
Некого ждать и не о чем сокрушаться,
Не слышать ни щебета птиц, ни телефонных трелей,
Не стучатся в окно ни недруги, ни тревоги.

Я молод, и время остановилось.
Стрелки не двигаются и не кричит кукушка,
Прошлое не преследует, и будущее не убегает,
И не чувствуешь больше себя одновременно
И охотником и оленем. Время дает передышку.
Время переводит дыхание и не переводит стрелок.

СТИХИ ЖИВОТНЫХ

Интересно бы послушать стихи животных.
Вот где необщее выражение лиц!
Вот где нестандартный взгляд на вещи!
"Рубаи" кабана,
"Любовная лирика" крокодила,
"Стихи о родине" селедки.

Вы сомневаетесь, что это интересно?
Вы думаете, что животные
Хуже нас понимают природу?
Не умеют любить?
Лишены патриотических чувств?

"О времени и о себе" петуха,
"Пути и перепутья" черепахи,
"Память сердца" слона,
"Люди и годы" немецкой овчарки.

Какие у них должны быть точные описания!
Красочные эпитеты!
Смелые метафоры!
Самобытное мироощущение!

"Листья травы" улитки,
"Цветы зла" пчелы,
"Стихи о прекрасной даме" удава.

Удивительные стихи животных,
Которые глухое человечество
Никогда не услышит.

ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ

Бальзак венчался в Бердичеве,
Толстый, обрюзгший, веселый,
Все еще пишущий по несколько страниц в день,
Уже отягощенный сердечной болезнью,

Все еще любящий потускневшую Эвелину,
 За тридевять земель от Парижа,
 С прекрасным настроением,
 С отвратительным самочувствием,
 С грандиозными планами,
 С зубной болью,
 С мировой славой,
 С украинским борщом,
 С русской борзой,
 С человеческой комедией,
 С клопами в постели,
 С рассерженной любовницей,
 С инфарктом миокарда,
 С тонкими остротами,
 С неоплаченными счетами,
 С бутылкой шампанского,
 С убывающим зрением,
 С вечностью на ты,
 С тяжелой одышкой,
 С роскошной мебелью,
 С письмами от матери,
 С блестящим будущим,
 С железнодорожными акциями,
 С беззаботной улыбкой,
 Со смертью наедине.

КОШКА С ЖЕЛТОЙ ЗВЕЗДОЙ

Кто-то привязал к хвосту кошки
 Консервную банку.
 Кошка бежит,
 Банка гремит,
 Мальчишки смеются.

Прохожие оборачиваются:
 Кто одобряет, кто осуждает.

ВРЕМЯ ОСТАНОВИЛОСЬ

Кошка бежит,
 Банка гремит,
 Мальчишки смеются.

Кошка с банкой напоминает человека
 С желтой звездой в левом верхнем углу рубашки.
 Человек бежал, звезда догорала,
 Прохожие оборачивались, показывали пальцем:
 Кто одобрял, кто осуждал,
 Мальчишки смеялись.

Откуда такое странное сопоставление?
 Человек со звездой совсем не похож на кошку.
 Разве кошку можно заставить
 Саму
 К хвосту привязывать банку?

Кошка бежит,
 Банка гремит,
 Мальчишки смеются.

БОГ РАЗМЫШЛЯЕТ

Интересно,
 Есть люди на земле
 Или нет?

Если есть,
 То они такие маленькие,
 Что я все равно не могу их увидеть,
 Ни услышать,
 Ни ощутить.

Часто я сомневаюсь,
 Есть ли они вообще.

С другой стороны,
 Если их нет,

То для чего тогда я существую?
Какова моя цель в жизни?

Нет, я думаю,
Что люди все-таки есть.

Кто изменил окраску континентов
Так, что из зеленых они стали серыми?
Кто напустил столько копоти и дыма в атмосферу?
Кто рассыпал по всей земле маленькие стеклышки,
Которые ярко блестят в солнечную погоду?

Может быть, это сделали солнце, ветер, вода?
И значит люди — это просто красивая выдумка?

Нет, все-таки хочется верить, что люди существуют.
Хотя, с другой стороны, это весьма и весьма сомнительно.

ИОВ НА АВТОМОБИЛЕ

Никто не приходит на кладбище автомобилей
С цветком в руке и грустными мыслями.
(Без цветка тоже никто не приходит.)
Автомобили взаимозаменяемы.

Если бы Бог хотел утешить человека,
Потерявшего автомобиль,
Он подарил бы ему новый.
Может быть, даже лучше прежнего.
И человек стал бы славить Бога
Еще усерднее прежнего.

Богу легко делать подарки.
У него все в мире взаимозаменяемо.
Автомобили, верблюды, жены, друзья.
Если берет старых, дает новых.
Вспомните историю с Иовом.

Бог отнял у него десять детей,
А потом дал ему десять новых.
И Иов за все благодарен Богу.
Что за человек этот Иов?

И что за создание этот Бог,
Не делающий разницы
Между верблюдом и ребенком,
Между собственностью и совестью,
Думающий, что можно
Уничтожить память
Дорогими подарками?

Глядите: вон едет Иов
На новом автомобиле.

ДОЛГОЛЕТИЕ

Марка с изображением долгожителя —
148-летнего колхозника
Эйвазова Мухамеда Багир-Оглы,
Ровесника Гоголя,
Современника Наполеона и Сталина,
Всю свою долгую жизнь
Пасшего овец.

Метеорами проносились мимо него
Жизни сотен замечательных людей,
А он не знал даже их имен.

Байрон, Гегель, Шопен.

Пас овец.

Кох, Толстой, Ренуар.

Пас овец.

Фрейд, Лобачевский, Эйнштейн.

Пас овец.

Он мог видеть Бетховена.
 Разговаривать с Пушкиным,
 Позировать Сезанну,
 Слушать Карузо.
 Но он никого не знал.
 Нигде не был,
 Ни в чем не участвовал.
 Ни за что не боролся.

Прекрасная жизнь!
 Спокойная жизнь!
 Безоблачная жизнь!

Такую жизнь,
 Не задетую словом,
 Ни мечом,
 Ни страданием,
 Можно прожить
 Лишь наедине с овцами,
 Вдали от истории,
 В стороне от человечества.

Жизнь, не пересекающуюся
 Ни с великими людьми,
 Ни со стихийными бедствиями,
 Ни с грозными эпидемиями,
 Ни с кровавыми распрями.

Согласно энциклопедии,
 В идеальных условиях
 Человек может дожить до ста пятидесяти,
 Крокодил — до ста шестидесяти,
 Черепаха — до двухсот.

Баловень судьбы,
 Мухамед Багир-Оглы!
 У него было то,

Чего не было ни у кого, —
 Идеальные условия.
 Это намного реже таланта.
 Ему остается только позавидовать.

ЗОВ ПРЕДКОВ

Во мне живут все мои многочисленные предки:
 Дед-часовщик (со стороны матери),
 Получивший право жить в Петербурге;
 И дед-врач (со стороны отца),
 Получивший образование в Париже и Вене.
 Прадед-купец, владелец пароходного дела в Крыму,
 И прадед-раввин, владелец сердец в белорусском местечке,
 Прапрадед-судья, поляк Моисеева закона,
 И прапрадед-маран, привозивший апельсины из Андалусии

Во мне живут все мои многочисленные предки:
 Врачи и ремесленники,
 Актеры и ювелиры,
 Философы и торговцы,
 Толмачи и менялы,
 Сефарды и ашкенази,
 Начетчики и талмудисты,
 Пастухи и земледельцы,
 Книжники и фарисеи,
 Первые иудеи и первые христиане.

Они протягивают костлявые руки
 Из клеток моего тела,
 Сверкают на меня через решетки
 Недобрыми миндальными глазами:

Дай нам дар речи!
 Воскреси!
 Почему ты молчишь?

Если я им скажу,
Почему я молчу,
Они не поверят.

НАСТУПЛЕНИЕ ГЛУХОТЫ

Не обязательно быть Бетховеном,
Чтобы страдать от наступления глухоты.
Глухота — тихий вор —
Обирает человека медленно —
Звук за звуком.

Сначала пропадает шепот,
Потом мелодичность женских голосов —
Слова становятся похожими
На жесткую проволоку.

Постепенно перестают звучать вещи —
Немееет под пальцами вымытое блюдо,
Не дребезжит фарфоровая чашка в буфете,
Глухонемая вилка падает на глухонемой пол,
Терпеливо ждет,
Пока на нее не бросят взгляд
Или не наступят.

Птицы умолкли уже давно.
Псы раскрывают щучьи рты,
Ватные листья скользят по ватному тротуару,
Неожиданно вырастают за спиной
Трамвай, почтальон, конская морда.
Пианино превращается в книжную полку.
Визиты друзей становятся реже и реже.

Бумага давно потеряла дар речи,
Некогда шумная раковина набрала в рот воды.
Еще продолжают жить грубые звуки —
Хрипит пила, кашляют колокола,
Глухо кряхтит простуженный топор.

Потом наступает полная тишина.
И полное одиночество.
Можно колоть дрова,
Сочинять стихи,
Размышлять о времени,
Взяв в собеседники
Самого себя.
И утешаться мыслью.
Что Бетховену
Было
Хуже.

А. ЧЕРНОВ

Я СЛУШАЛ СНЕГ

Пивной ларек, где мужики
толпятся спинами друг к дружке.
По кулакам пивные кружки,
одутловатые кружки.
Один питается лещом,
Другой скривил от дозы грубой
Наждак осунувшихся щек,
бутылкой вправленные губы.
Внакладку баня и завод.
Отцы шипят над слоем пены,
а дети ростом по колено
копают пыльный огород.
Малыш, проказник и балбес,
стучит по пляшкам и канистрам,
под бочку толстую залез,
потарахтел и вылез быстро.
Потом катает ржавый обруч.

Потом... по собранным костям,
сцепляя жабры по осям,
он восстанавливает воблу.
Пятнадцать туловищ в одно
он сочленяет, как на спицах.
На перепончатую спицу
сливает пиво и вино.
В его руках дрожит костяк,
в его губах костяк щебечет,
перебирает крыльев плечи,
слюдой оскольчатой блестя,
И, разом скаркивая крик
и свист роскошной голубятни,
взлетает в небо: — Чик-чирик!
и вниз, в пивную, на попятный.
Малыш про птицу позабыл.
Ему прибор уже не нужен,
он обнаружил берег лужи
и коробок, который плыл.
А недоделанный прибор
садится мухой на забор
и, ощутив инстинкт лягушки,
в янтарные ныряет кружки
и гасит брызгой "Беломор".
На ободке, как стрекоза,
как призрак беленькой горячки,
таращит мутные глаза,
крючкастым чертиком маячит.
Сам зав. ларька интеллигентно
взывает к разуму клиентов,
мычит о чести заведенья,
выносит тульский дробовик,
прикладом давит воротник
и целит в рыбе привиденье.
— Трах-тарарах! — сказал огонь.
Муляж споткнулся, будто конь.
Вобрал меж ребрами металл,

Вошел в забор и перестал.
 Со всех сторон аплодисменты.
 За попаданье, как в кино,
 освобожденные клиенты
 подносят заву домино.
 Такую сложную игрушку
 уже никто не соберет,
 и торжествует весь ларек,
 и пиво пьет за кружкой кружку.

* * *

Небесный месяц, словно слово,
 висел над кепкой рыболова,
 и понимал рыбак под нимбом
 подробный ход подводной рыбы.
 Не ощутимая на ощупь
 дышала воздухом природа.
 Среди сонливости всеобщей
 она ждала переворота.
 Над отраженными мостами
 спокойно плавал свет вечерний,
 но беспокойными мозгами
 в консервной банке жили черви.
 Пока рыбак в течение часа
 по дну реки грузилом шарил,
 в одну критическую массу
 сомкнулись черви полушарий,
 Как стебли выловленных лилий,
 Слагая кольчатые числа,
 на берегу зашевелились
 доисторические мысли.
 И тут под черепом жестяным
 возникло тело обезьяны
 с лохматым торсом и душою
 полузвериной и большою.
 Вдруг в череп муха залетела.

Пуская дым, пропало тело.
 Но мысль червивая предела
 не ощущала. Вслед за телом
 возникли сфинксы и гробницы.
 Потом исчезли. С криком птицы
 стократный образ петуха
 засеменял на трех ногах.
 Как будто гусь метнулся в реку,
 преодолел ее и часто
 за горизонтом кукарекал
 пока разваливался на части.

* * *

А рыболов царапал воду.
 Его рука улов искала.
 Его резиновая обувь
 раствор воды не пропускала.
 Он в рыбу верил, как в науку,
 он по ночам протяжно думал
 поймать серебряную щуку
 и не дышал, как будто умер.

* * *

Усни под дождь — окажешься дождем,
 пространством между облаком и лужей,
 и, струнную мелодию прослушав,
 Ты перейдешь в подземный водоем.

А там среди корней, среди камней
 на берегу разбуженного Стикса,
 Ты обнаружишь статую из гипса
 и прочитаешь надписи на ней.

Ты прочитаешь: "Путник из дождя,
 готов ли ты для смены состоянья?"

Взгляни на меловое изваянье,
Всматрись в лицо. Вот копия тебя.

Повсюду дождь, повсюду ты один
переплетен дождем, землю соткан.
Ты рядом с телом, как земные соки.
Так оставайся или восходи!

Пока твой сон летает вверх и вниз,
и неподвижны стрелки на запястье,
будь статуей у вечности в запасе.
Усни под дождь и заново проснись”.

* * *

Сжимают улицы простор,
К Днепру бегут с трамвайным звоном,
а наверху ни парк, ни двор,
а просто холм, прикрытый домом.

Произросла над мостовой
архитектурная нелепость:
фасад развернутый, как крепость,
и холм с кустами и травой.

За гребнем башен для жилья,
за лабиринтом и спиралью
лежит обычная земля,
как будто город разобрали.

Крутые склоны с трех сторон.
Строптивный холм ничем не занят.
Клочок, не тронутый дизайном
декоративных мастеров.

Здесь все восходит к небесам.
Быть может, в башенке пузатой

в начале века жил писатель
и даже книгу написал.

* * *

**На экране, где я ныряю,
синусоида батерфляя...**

Натянутая так, как пластик барабана,
от звуков вземных колеблется вода,
и облако одно с ушами великана
прослушивает дно у города Судак.

Другое же висит над пляжем, как ракушка.
Замкнулась на себя спиральная тоннель.
Как будто только что стреляла пушка
и там разорвалась учебная шрапнель.

Над городом Судак, в скоплении галактик
четырнадцатый день работает радар,
прощупывает дно, пронизывает пластик
и бьет по головам, как солнечный удар.

У множества людей на грани моря с суши
единый организм, но слабый биоток.
Они не слышат дна — у них другие уши.
Они не видят взрыв — и зрение не то.

А я сижу в воде, как радиопомеха.
Когда все тело — поле, свет и звук,
и мысли у меня на тысячи парсеков
из самых первых рук.

* * *

Ботанический парк. Ствол с табличкой: "БУНДУК",
(уникальное дерево западной почвы).

Чей-то дедушка отпер лопатный сундук,
темно-синий сундук, словно списанный с почты.

В парке полутемно или полусветло.
На дорожке дуэль — человек и природа;
ополченческий дедушка строгой метлой
изгоняет собак незаконного рода.

На скамейке студент, в этот раз без очков,
без типичных очков, без портфеля и шапки,
с сигаретой, верней, сигаретным бычком,
с пожилым столяром соревнуется в шашки.

Оба вправлены в рамки спокойной игры.
Листья падают в дамки и падают мимо.
Их сбивает щелчок или ветра порыв —
это вносит в игру элемент пантомимы.

Белка вниз головой на стволе бундука.
У нее в голове черно-белые клетки.
У студента ненужные шашки в руках,
У партнера помет голубиный на кепке.

Недруг тощих собак направляет совок
на какой-то предмет в неполюженном месте.
Он честит листопад и живой уголок
в нехороших словах, скомпанованных вместе.

Пенсионный столяр получил перевес,
хоть на правой руке не хватает двух пальцев.
Мелкий дождь начинает спускаться с небес,
и студентик не в силах уже отыгаться.

Белка вместе с хвостом утонула в дупле.
Побрели игроки на трамвай номер восемь;
где на заднем дворе отразились в стекле:
ботанический парк, уходящая осень.

Как фугу и токкату "ми бемоль",
Как сводку перевернутой погоды,
Я слушал снег сегодняшнего года,
Я слушал снег в четырнадцать ноль-ноль.

Я слушал снег, но снег не говорил.
Он создан был. Он был уже стихами,
Густыми и большими облаками,
Серебряными маршами перил.

Я слушал снег. Я слушал антисвит.
Шипящий снег. Я слушал пульс у воздуха,
Мерцающий замолвленными звездами,
Я слушал растопыренную кисть.



Вера ВИРЕН-ГАРЧИНСКАЯ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС В МОСКВЕ

Сегодня это выглядит как несбыточная мечта, чтобы группа специалистов по СССР могла приехать в Москву и осуществить то, что на языке социологов именуется анкетированием, выявить суждения советских граждан о переменах в их стране. Разумеется, в этом смысле, то, что удалось сделать мне, социологическим опросом не назовешь никак. Да и возможен ли такой опрос в условиях СССР? Поэтому сразу же оговорюсь, моя задача была куда скромнее. Я хотела просто, если хотите, на самом обыденном, житейском уровне побеседовать с москвичами и узнать, что они думают о своем новом руководстве, о начатой им линии, да и вообще о происходящем в СССР и в мире.

Уже на обратном пути я перечитала свои блокноты и обнаружила, что в общей сложности мне удалось опросить 66 человек — массив более чем узкий для социологических выводов. Но все же это был взгляд "оттуда", "изнутри", взгляд и мнения тех, кто десятками лет привык отмалчиваться и, в луч-

шем случае, позволял себе откровенность в узком кругу друзей. Впрочем, степень искренности и, следовательно, достоверности ответов была неодинаковой, иногда настолько неодинаковой, что выявить общую точку зрения становилось почти невозможно.

Начну с того, что я старалась побеседовать с людьми разных социальных групп — в моем блокноте записаны ответы таксистов, студентов, домохозяек, ученых, художников, инженеров, литераторов, работников гостиниц и даже представителей так называемого "московского бомонда".

Беседовала я с ними в самых разных местах и при различных обстоятельствах. Но вначале: какой открылась мне Москва чисто внешне 17 сентября 1986 года, когда самолет финской авиакомпании "Финнэр" доставил меня на Шереметьевский аэропорт. Мои русские друзья в Нью-Йорке (из числа новых эмигрантов) говорили: "Полетишь ты в самое лучшее время — бабье лето, золотые кроны деревьев..." Я вышла из аэропорта в холодный, дождливый день, большинство москвичей было уже в пальто, улицы выглядели пасмурно, туман, — так что, пока такси везло меня в гостиницу "Космос", в Медведково (по новым правилам теперь поселяют многих иностранцев именно туда), — мне мало что удалось разглядеть. Но, как это случается, наутро Москва открылась моим глазам уже совершенно другой — на улицах массы людей, оживление, в большинстве москвичи неплохо одеты, конечно, без западного шика и модерна, но ничуть не хуже, а иногда и лучше, чем жители других стран Восточной Европы.

С первого же дня географию своих поездок я старалась по возможности расширить: весь центр, бульвары, улица Горького, Кропоткинские ворота, Кремль и прилегающие скверы, Ленинские горы, площади и улицы в Медведково, Арбат. Я чувствовала, что эта географическая пестрота — далеко немаловажный фактор для моих опросов. Что же я хотела выяснить? Говоря откровенно, гораздо больше, чем мне удалось: все-таки, несмотря на мой хороший русский (говорят, правда, что он немного с польским акцентом), я временами ощущала настороженность (не боязнь, а именно настороженность), особенно когда речь заходила о проблемах политики.

Итак, мой первый вопрос был об отношении москвичей к новому советскому лидеру, и к нему лично и к его политике. Скажу сразу, самыми искренними собеседниками были таксисты. За неделю пребывания в Москве я, наверное, наездила тысячу миль — одна дорога от Медведково до центра занимала не меньше, и иногда и больше часа. Но дело не во времени, проведенном вместе, а в психологии московских таксистов, этих словоохотливых и циничных философов за баранкой, всегда полных впечатлений от неожиданных встреч со всякими случайными попутчиками. И, может быть оттого, что попутчики случайны (раз в жизни встретились — и поминай, как звали), таксисты были откровеннее других. "Что у Горбачева на уме, то у таксиста на языке", — услышала я от кого-то из московских знакомых.

Итак мнение москвичей о новом руководстве. Вначале нечто показавшееся мне типичным: о новом вожде никто не говорил плохо, напротив, по сравнению с Брежневым или там Черненко, воздавали ему должное: молодой, энергичный, хочет перемен, не то что старый кретин Брежнев, на которого один из моих собеседников возложил даже ответственность за Чернобыль. Так говорило большинство. Но, с другой стороны, в этих разговорах я не слышала и особого восторга от Горбачева. Это был такой осторожный оптимизм. Как заметил один инженер-электронщик, все, мол, так: молодой, энергичный, но судить рано. Поживем — увидим. Самых горбачевских лозунгов о перестройке и о новом стиле никто не повторял, а вот это "поживем-увидим" я слышала от многих.

Некоторым из моих собеседников вообще не было охоты распространяться на "горбачевскую тему" — де, много их было разных руководителей, много давали обещаний, а мяса как не было, так и нет.

Скептики-таксисты не упускали случая позлословить насчет велеречивости Горбачева, правда, не без уважения отмечали его умение выступать. Пожилой таксист, который вез меня из Медведково во Дворец Съездов, так ответил на мой вопрос: "Ну, у этого хоть язык подвязан, хоть говорит без шпаргалок, а Брежнев, бывало, как уткнется в лист, так и не оторвется..."

Другой (мы ехали во Дворец Съездов, на "Евгения Онегина") оказался позлее: "Вот уж горазд трепаться каждый день. Как зарядит на целый вечер! А вы скажите, чего зря языком молоть?"

И в самом деле по количеству произносимых речей Михаил Горбачев явно превзошел своих предшественников. Все пять вечеров, что я находилась в разных домах, его лицо не исчезало с телеэкрана, а один раз он выступал часа три, кажется, перед тружениками Ставрополя, а может, перед активистами Краснодарского края — точно не помню. Запомнила лишь, что он все время, хоть в разных выражениях, повторял о необходимости перестройки. И каждый раз ссылаясь на Ленина, на советы Ильича, который говорил: "Не беритесь решать новые задачи на основе старых подходов". В квартире, где я в этот вечер оказалась, его речь воспринимали по-разному. Здесь по какому-то случаю собралось довольно много людей. Некоторые, сидя за столом, болтали о чем-то своем, вообще не обращая внимания на речь вождя (чего, мол, слушать, и так все известно!) Но другие слушали, а один (после очередного призыва Горбачева к перестройке) даже воскликнул: "А что вы думаете, капля камень долбит!" Но все же, как мне показалось, говорит Горбачев, с точки зрения москвичей, слишком много. Чересчур словоохотливые руководители у советских людей никогда не вызывали восторга. Эту "психологию народа", видимо, хорошо понимал Сталин, который появлялся раз в год на Красной площади и мог годами молчать. За неумную страсть к речам куда меньше уважали Хрущева; мы помним, как надсмехались над ним, называли "Никиткой", "кукурузником", хотя со Сталиным был связан самый черный и кровавый период в советской истории, а Хрущеву принадлежит заслуга освобождения миллионов людей из концлагерей. Словом, мой опрос еще раз показал, что массовое общественное сознание — вещь, далеко неоднозначная.

Суммируя все услышанное о Горбачеве, думаю, что главная претензия к нему москвичей в одном: при том, что говорится много правильных вещей, делается пока очень мало.

Расспрашивала я и о другом советском лидере, новом мос-

ковском боссе Ельцине, который получил известность благодаря своей "революционной речи" на московском партактиве. Но особого уважения к нему я не почувствовала. "При Брежнев говорил одно: да здравствует товарищ Брежнев, а теперь — наоборот: во всем виноват Брежнев..." — иронизировал один из московских художников.

На вопрос об антиалкогольной кампании, начатой новым руководством, ответы разделились. Самых горячих союзниц Горбачев нашел в московских женщинах. Независимо от социального положения, они единодушно поддерживали кампанию против пьяниц — видно, пьянство мужей давно переполнило чашу их терпения. Одна, например (домашняя хозяйка), назвала это самым мудрым шагом нового руководства. Другая в ответ на мой вопрос просто запричитала: "Господи, давно надо было начать, ведь с водкой — одно горе. Дома жрать нечего, а мой в первый же день пропьет получку, идет, морда, шатается, готов, набрался!"

У таксистов свои оценки. Ну, во-первых, водка для них — бизнес: когда все забегаловки закрыты, где пол-литра достать? — Ясно где: у таксиста! И вот Горбачев этого бизнеса их лишил, они, разумеется, обозлены. Но стараются сохранить достоинство и говорят не о собственных убытках, а, так сказать, о социальной стороне вопроса: "Ишь, чего задумал, чтобы в России водку не пили! Торговлю решил свернуть! Да ты ее хоть сто раз сворачивай — а самогон на что? А черный рынок...! Как пила Россия — так и будет пить!"

Что к этому добавить? Пьяных на улицах не видно, но в домах пьют не меньше. Я сама была этому свидетельницей и что-то не видела признаков того, что москвичи, идя навстречу призывам партии, полностью перешли на лимонад.

И вообще, судя по всему, их вкусы и пристрастия не зависят от смены партийного руководства и его призывов, будь то Хрущев, Андропов или, как теперь, представитель молодых — Горбачев. Москва и москвичи во многом остались самими собой. В Москве я уже который раз — а театры почти всегда полны и, как всегда, эти вечно выспрашивающие у входа "лиш-

ний билетик". Может быть, так не во всех театрах, но перед Дворцом Съездов, где я слушала на этот раз "Евгения Онегина", было именно так. И когда я вошла во Дворец, то невольно вспомнила Станиславского. Помните — "Театр начинается с вешалки". Это особое ощущение, в чем-то даже мистическое, особый настрой публики, начинающийся уже в фойе. Думаю, что театр — это вообще особая сторона в жизни москвичей, помогающая им уйти от будней жизни.

Но вернемся к нашему опросу. Среди прочего меня, разумеется, интересовали вопросы внешней политики. Не скажу, чтобы к ним был жгучий интерес, в подтексте ответов чаще всего ощущалась такая нотка: "Де, политика дело не наше, мы — люди маленькие, это там пусть Горбачев с Рейганом решают!" Тогда я переформулировала вопрос и стала спрашивать об отношении москвичей к Рейгану, и тут дело пошло легче. Высказывались охотно, притом не одни таксисты, у которых на все есть заготовленный ответ, но и люди разных профессий. И почти все поголовно проявляли либо незнание Рейгана, либо его недооценку. "Да! — услышала я иронию из уст одного художника, — у вас президент особый — артист!" Вообще почему-то актерская карьера Рейгана выплывала наружу всякий раз, когда заходила о нем речь.

Ощущения опасности войны с Америкой не проскользнуло ни разу. Зато почти всякий раз я чувствовала, даже в разговорах с интеллигентами, нежелание ввязываться в обсуждение этой многосложной проблемы. Опять тот же лейтмотив: мы — люди маленькие, вот Рейган с Горбачевым соберутся, пусть и решают, чего-нибудь решат.

Даже дело Данилова не вызывало особого интереса, хотя один из моих знакомых утверждал, будто он сам по радио слышал, что Данилов признал себя шпионом. Впрочем, такими вещами москвичей, прошедших через тридцать седьмой-тридцать восьмой годы, не удивишь. "Ну, признал! Ну и что? — разошелся в одной из компаний престарелый литератор, — мало ли кто что признал. А потом глядишь — и не виновен!" А другой, чтоб закруглить тему, саркастически заключил: "Не беспокойтесь, там знают что делают: они нашего взяли, а мы — ихнего, вот так и договорятся!"

К иностранцам в сегодняшней Москве относятся спокойно, без недавней еще настороженности — это явно чувствовалось, и даже когда я говорила, что я американка, ни у кого не рождалось опасения продолжать разговор. Что ж время делает свое, и границы, которые вчера были на замке, постепенно подтачиваются, по крайней мере, границы психологические. Никто от меня не таился, не старался скрыть или приукрасить происходящее.

В магазинах после Америки особого изобилия я не заметила, но похоже, что все необходимое есть. Впрочем, конечно, не все. У одного из продмагов на улице Горького я увидела мгновенно выстроившуюся очередь. Советский лексикон я знаю, и поэтому сразу же задала вопрос по существу: "Что дают?" Тут же выясняется, что "дают" копченую колбасу, но на всех может не хватить — имелась в виду я, которая подошла последней.

А вот и новое в теме иностранцев: неожиданно для себя я обнаружила, что Москва и москвичи не любят арабов. Со мной в "Космосе" обитало много выходцев из арабских стран кажется, из Кувейта или Ирана. Так вот, коридорные не могли скрыть своей неприязни: "Вот понаехали, — ворчала уборщица из моего номера, — чего им тут делать?" В дни моего пребывания в Москве произошли акты террора в Париже. Об этом передавали по радио и телевидению, и в эти дни свою арабофобию москвичи даже не скрывали.

Что касается антисемитизма, то, конечно, мне, туристке, в этой области ничего установить не удалось. Впрочем, одна любопытная сценка: в доме знакомого иностранного журналиста (жена его, по национальности, русская) вдруг неожиданно заговорили о евреях, причем, в тональности, которой я обычно не слышала в Москве. Не помню уж в связи с чем, но она ни с того ни с сего заявила, что Раиса Горбачева — еврейка. Сосед мой по столу, увидев на моем лице удивление, объяснил, что это у нее такой пунктик, такая блажь: повсюду находить евреев и при этом в них самих искать корни антисемитизма. Де, им, евреям, выгодно устраивать вокруг себя шум, потому они и кричат о юдофобстве. Тот же мой сосед по столу, пока

эта дама проводила свои изыскания относительно корней антисемитизма, продолжал: "Это еще что! В тот раз она говорила, что евреи — Молотов и Берия, и даже Брежнев" Один из шутников ее прервал: "Ну, насчет Молотова и Брежнева понятно, у них жены еврейки, а Лаврентий Павлович тут при чем?" — "Тоже еврей!" — безапелляционно заявила дама.

Повторяю, это было в кругу "бомонда", где все и все смешалось, как в доме Облонских: художники, поэты, иностранные журналисты и, по-моему, гэбэшники. Другой человек на том же вечере вдруг набросился на Зоценко, что он, де, не любил Россию и постоянно смеялся над русскими людьми.

Впрочем, никакого особого интереса к славянофильству — в том числе в этом доме — я не заметила. Прошлое России? — Да! Об этом говорили многие, но интерес не болезненный, а сбалансированный с интересом к Западу.

"Верно! Петр был западником, да еще каким! — услышала я рассуждения одного преподавателя МГУ. — Ну, а Пушкин? Кто был Пушкин? Славянофил или западник?"

Другой человек, тоже из московской элиты мой вопрос относительно перспектив встречи в верхах неожиданно прервал: "Бросьте об этом, скажите лучше, верно ли, что адмирал Вирен, которого расстреляли кронштадтские моряки, имеет какое-то родственное к вам отношение?" — "Так это ж мой дед! — "Дед? Знаменитый адмирал Вирен приходится вам дедом? — рассматривал он меня с любопытством, — ну это уже интересно!" Так мы и не коснулись взаимоотношений СССР—США в тот вечер, а до конца его проговорили о моем дедке адмирале Вирене.

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

Что происходит в СССР? Действительно ли ожидают там реформ и перемен? Как далеко готов пойти Горбачев? И насколько его дела соответствуют его призывам к перестройке и новому курсу? На эти вопросы сегодня пытаются дать ответ многие специалисты по Советскому Союзу, высказывая прямо противоположные суждения.

Американский советолог Сидней Плосс, например, полагает, что

Горбачев действительно намерен двигаться вперед и в конце концов пойдет на далеко идущие реформы. В подтверждение он ссылается на то, что новый руководитель оказывает поддержку ряду либеральных советских экономистов, такому, например, как Эрик Плетнев, признающему существование единой мировой экономики и отстаивающему необходимость экономических контактов между Западом и Востоком. По мнению Плосса, Горбачев поддерживает и другого либерально настроенного советского экономиста — академика Амангабяна*, который видит причины неудовлетворительного состояния советской экономики в перегрузке ее военными расходами. Плосс считает, что Горбачев после того как консолидирует в своих руках власть, вынужден будет пойти — по примеру Венгрии и Китая — на введение рыночного хозяйства

Но есть и сторонники другой точки зрения, полагающие, что приход к власти Горбачева и его соратников — это не более чем верхушечный переворот, в результате которого к власти пришло молодое поколение аппаратчиков, и, какие бы лозунги новый кремлевский вождь не выдвигал, на самом деле он идет по пути дальнейшего укрепления тоталитарной системы. Усиление централизованного планирования, дисциплины труда, борьба с так называемыми нетрудовыми доходами — все это не имеет никакого отношения к подлинной либерализации и никак не может быть названо "оттепелью номер 2".

Некоторые советологи считают, что реальной свободы при Горбачеве будет еще меньше, чем при Брежневе, несмотря на всю стагнацию брежневской экономики. По их мнению, процветавшая при Брежневе коррупция, подпольные производства, блат, левые дела — все это открывало щель для так называемой "второй экономики", с помощью которой люди могли, хоть и в обход закона, но все-таки удовлетворять свои потребности. Это было как бы молчаливое согласие между властями и населением, согласно которому власти, действуя повсеместно в своих интересах, соглашались закрывать глаза на то, что какой-то кусок общественного пирога население оставляло для себя.

На первый взгляд, статья Веры Вирен-Гарчинской, написанная исключительно на основе ее личных наблюдений и опросов, не добавляет нам знаний о переменах в России,

Но это только на первый взгляд. Чисто эмпирические наблюдения автора в Москве по-своему высвечивают картину и добавляют к ней небезыңтересные детали.

Одно обстоятельство прежде всего привлекает внимание при оценке пестрых ответов, полученных Верой Вирен-Гарчинской. Это равнодушные москвичей ко всему происходящему наверху. Горбачев не устает призывать к переменам, перестройкам, инициативе, к борьбе с рутинной, к новому подходу к делу. И что в результате? А в результате слышим: "Чего зря языком молоть?", "Поживем-увидим", "Много было руководителей, много давали обещаний, а мяса, как не было, так и нет".

*Аганбегян — Д.Т.

Внешняя политика? Отношения с Америкой? — "Мы — люди маленькие, вот там Рейган с Горбачевым соберутся — пусть и решают".

Борьба с водкой? Женщины-москвички, изведенные пьянством мужей конечно, приветствуют. Но таксисты — стихийные московские социологи комментируют: "А самогон на что? А черный рынок!" Словом, как ни закручивай гайки, — у экономики свои законы.

Собрав у москвичей мнения о Горбачеве, автор тонко подмечает: русский народ не любит чересчур словоохотливых вождей. Оттого, по-видимому, что население давно уже разуверилось во всяких обещаниях сверху; эта страсть к речам и выступлениям подрывает авторитет и нового руководителя. Остается, впрочем, неясным: о чем все-таки так много говорит советский вождь? Автор упоминает его речь на встрече с партийным активом Краснодарского края. Ее полный текст был опубликован в профсоюзной газете "Труд", 20 октября 1986 года. Так вот, если мы ее прочитаем от начала до конца, то не обнаружим почти ни одной свежей мысли, а все те же, знакомые и давно набившие оскомину советским людям пропагандистские штампы: об историческом этапе, переживаемом трудящимися СССР, о их широком участии в управлении производством, о широкой гласности, о значении двенадцатой пятилетки на пути к светлому будущему — и через каждые две фразы — "новый подход", "перестройка", к которым партия и ЦК КПСС призывают советский народ. Но что за перестройка? И что реально она даст простому человеку остается неясным.

В том же номере "Труда" опубликован отчет о встречах нового советского лидера с сельскими тружениками. О чем же и каким языком говорит вождь с людьми из народа? Право же эти диалоги стоят того, чтобы их процитировать. Итак, Михаил Сергеевич Горбачев среди тружеников совхоза "Нива" Новоалександровского района, Ставрополья.

М. С. Горбачев. Вижу, что у вас много новых домов, улицы формируются. А ведь когда-то здесь было отделение... Вы довольны, что создан новый совхоз?

Г о л о с а, Довольны.

М. С. Горбачев. А осталось бы здесь отделение, наверное, было бы село заброшенным. Теперь уже совхоз развивается. Магазины есть, больница, школа?

Г о л о с а. Все у нас есть. И пункт медицинский, и школа на 1400 мест...

М. С. Горбачев. Это хорошо. Урожай какой вы получили в этом году?

Г о л о с. 32,5 центнера вкруговую.

М. С. Горбачев. Для этого года неплохо. Но это не кубанские урожаи, правда? Надо больше.

Г о л о с . Вот воду дадут, будет больше.

М. С. Горбачев. Это когда-то был мой наказ. Левоегорлыкский канал строите?

Г о л о с . Да, он уже рядом. 960 гектаров оросит. Дождевальные машины "Кубань" монтируем.

М. С. Горбачев. Какие вопросы ко мне?

Г о л о с а . Чтобы мир был. И еще разрешите нам от имени всех пенсионеров поблагодарить партию и правительство, что мы не боимся нашей старости, мы обеспечены...

М. С. Горбачев. Рад услышать такие слова. Думаю, что все молодые должны относиться к возрасту с пониманием... Многие пенсионеры трудятся, вносят свой вклад. Это тоже хорошо. А пенсионеры-бабушки — в дефиците. Их помощь молодым семьям — это огромное дело. Что молодежь скажет?

Г о л о с . Молодежь согласна. Спасибо вам, Михаил Сергеевич, за неустанную заботу о молодежи, о мире.

Подобного рода содержательный диалог мог вполне украсить роман Бабевского "Кавалер Золотой Звезды" — светлой памяти сталинских времен, когда окруженный счастливыми тружениками вождь нисходит до мудрых указаний, а благодарные труженики только и делают, что благодарят вождя. Впрочем, есть и перемены — то были времена мудрой сталинской заботы об укреплении социализма, а теперь времена мудрой заботы партии о перестройке всей жизни.

Вот и судите, читатель, что за революционные сдвиги происходят в СССР и отчего так скептически к ним москвичи, с которыми беседовала профессор Вирен-Гарчинская. "Поживем — увидим", — говорят они без особой уверенности, что увидят по-настоящему новую жизнь, которую им так щедро обещает партия и ее новый руководитель Михаил Сергеевич Горбачев.



Борис ПАРАМОНОВ

МАРГАРЕТТ МИТЧЕЛЛ И "РУССКИЙ РЕНЕССАНС"

Некоторое время назад в СССР выпущен русский перевод книги Маргаретт Митчелл "Унесенные ветром", и, судя походящим оттуда сведениям, книга пользуется громадным успехом — у тех читателей, которым она стала доступной. В самом факте столь запоздалого появления на русском языке этой книги нет еще ничего удивительного. 46 лет — не такой уж большой срок для советского планового книгоиздательства, — "Улисс", например, не издан по-русски до сих пор, хотя его перевод существует и даже печатался в журнальных отрывках в 30-е годы.

Удивительно то, что эта книга вообще издана в СССР. Но удивление быстро уступает место другим, более смешанным чувствам, когда в выходных данных обнаруживаешь цифру тиража — 10 тысяч экземпляров. Для Советского Союза это совершенно ничтожная цифра, можно сказать, что роман как бы не издан вообще. И этот тираж дан книге, по самой сути своей предназначенной для массового чтения. Доброжелатели

М.Митчелл говорят, что ее книга — это американская "Война и мир"; недоброжелатели называют ее типичной "мыльной оперой", сериалом для телевидения, явлением масскульта. Как бы то ни было, герои Митчелл носят на себе печать того, что называется архетипичностью, и значит им суждена широчайшая популярность, они могут стать — и в Америке стали — популярными, как Шерлок Холмс. Тогда цифра 10 тысяч приобретает специфический советский смысл: она означает, что вокруг издания "Унесенных ветром" шла борьба, и тиражные данные знаменуют некий компромисс.

По каким-то причинам книгу решено было выпустить, — но так, чтобы она не дошла до советского читателя. Она будет распространяться в порядке "спецраспределения", в книжных киосках районных и областных партконференций. Значительная часть тиража уйдет за границу, для пополнения советских валютных запасов. Я сам купил ее в книжной лавке Victor Kamkin, Inc. (Rockville, Maryland). Вот почему приятель в частном письме из Советского Союза сообщает: "Издана для вас М.Митчелл".

Еще одна строчка из того же письма: "Нам надоели янки, переходим на сторону южан". Именно это обстоятельство делает публикацию "Унесенных ветром" текущей советской сенсацией. Представим себе появление в Советском Союзе книги о русской гражданской войне, написанной с точки зрения "белых": аллюзии и ассоциации, связанные с книгой Митчелл, именно таковы.

Скажут, что подобная книга в СССР уже была написана, издана и автор ее награжден всяческими лаврами, — это всем известный "Тихий Дон" Михаила Шолохова. Но, во-первых, как говорит советская поговорка, "это было давно и неправда", во-вторых, неизвестно, сам ли Шолохов ее написал, и, в-третьих, самое главное — действие "Тихого Дона" кончается вместе с гражданской войной, нет в этой книге второго (или пятого) тома, описывающего "торжество победителей"; советская пореволюционная жизнь описывалась (и прославлялась) самими этими победителями. Что касается "Архипелага ГУЛаг", то он вряд ли будет издан нынешними лидерами советского режима.

Есть еще одно обстоятельство, придающее изданию "Унесенных ветром" повышенную значимость. Предисловие к книге написал Петр Палиевский — довольно известный советский литературовед, начинавший как специалист по английской литературе. Я помню его статью о "Счастливишке Джиме" Кингсли Эмиса. Однако П.Палиевский известен в Советском Союзе не столько как литературовед, сколько как неофициальный лидер (вместе с другим литературоведом Вадимом Кожинным) так называемого неославянофильства. Само существование этой литературной (или идейной) группы — хотя нигде официально не декларированное — уже, в советских условиях, сенсация.

Славянофильством называлось в России идейное движение, параллельное европейскому романтизму (американская параллель, пожалуй, — Генри Торо). Оно выступило с проектом некоей, как теперь говорят, контркультуры, основанной не на научных моделях познания и преобразования бытия (традиция европейского просвещения), а на апелляции к неким, можно сказать, эстетически смутным критериям целостности, духовно-религиозной глубины. В построениях славянофилов Россия считалась страной, изначально носящей в себе задатки этой чаемой культуры; поэтому высказывания славянофилов приобретали если не националистические, то, во всяком случае, антизападные обертоны.

Замечательный советский литературовед Б.М.Эйхенбаум считал главным славянофильским гением Льва Толстого, хотя он никогда не числился среди партийных славянофильских теоретиков и идеологов.

В России середины прошлого века оппозиция "славянофилы-западники" была едва ли не главным идейным событием. В советское время, начиная примерно с 60-х годов, происходит некая подспудная, едва ли не подпольная реставрация славянофильских идей. Это движение нашло, однако, литературную манифестацию в так называемой "деревенской литературе", которую Александр Солженицын считает русской классикой двадцатого столетия, стержневым явлением русского национально-культурного ренессанса. Упомянутые Кожин и

Палиевский считаются — или хотели бы себя считать — теоретиками этого движения.

Естественно, в советских условиях, в подцензурной печати, особенно, если речь идет не о художественных, а идейно-теоретических текстах, неославянофильские идеи не могут быть выражены открыто, тут приходится прибегать к хорошо известному в России (и хорошо понимаемому читателями) эзопову языку. Предисловие Палиевского к "Унесенным ветром" — один из примеров этого эзопова языка. Сам факт, что американскую книгу представляет публике неославянофил, должен означать, что эта книга вводится в духовный оборот "русского возрождения", что она должна сказать нынешним русским нечто значительное и иными путями недоступное. Книга Митчелл становится вехой на пути русского движения.

Что же делает "Унесенные ветром" событием русской жизни? Во-первых, как я уже сказал, изображение гражданской войны — общего опыта американцев и русских — с точки зрения побежденных: американские "серые" очень легко ассоциируются с русскими "белыми". Советский читатель достаточно напичкан марксистскими схемами, чтобы понять, что американская гражданская война была родом буржуазной революции, в которой победили силы, называемые (опять по-марксистски!) "силами прогресса". Советских людей обучили, что буржуазные порядки относительно прогрессивнее порядков феодальных. Такова простейшая идеологическая схема, в которую можно втиснуть события, изображенные в книге Маргаретт Митчелл. Но в этой книге указанная схема неожиданно расцветает всеми красками реальной жизни, и тогда оказывается, что абстрактные "силы реакции" могут быть живыми, полнокровными, и вызывающими симпатии людьми. Более того они могут быть благородными людьми — как Эшли Уиллкс.

Сам реакционный общественный уклад — в данном случае американский феодальный Юг — может предстать картиной благоустроенной, гармоничной и органичной жизни. В этой жизни нет ничего ужасного: показанная вплотную, она не вызывает тех отталкивающих ассоциаций, которые автоматически возникают в голом идеологическом пространстве при упо-

минании таких слов, как "реакция", "эксплуататоры", "рабство".

В одном месте "Унесенных ветром" говорится: "Считая "Хижину дяди Тома" столь же достоверной, как Библия, все женщины-янки спрашивали про овчарок, которых якобы держит каждый южанин, чтобы травить ими беглых рабов". А Питер, старый кучер тетушки Питти, говорит о янки: "Они меня свободными и не сделали. Я бы в жизни не позволил такой падали делать меня свободным."

В другом месте вскользь говорится о том, что плантаторы, дурно обращавшиеся с рабами, вызывали всеобщее презрение благопристойных южан; это были люди, отвергнутые южным обществом, плантаторским "светом". Наоборот, отвратительными предстают в книге освободители-янки, называющие дяжюшку Питера "ниггером".

В своем предисловии Палиевский рассказывает, что на премьере фильма, сделанного по роману Митчелл, в Атланте зрители от восторга едва не разнесли театр, когда в одной из сцен Скарлетт убивает грабителя-янки. Я уверен, что если бы советским зрителям показали этот фильм, то их реакция на эту сцену была бы точно такова. Искусство — даже такое сомнительное, как искусство Маргаретт Митчелл, — сильнее идеологических схем. И что бы мы ни говорили о Маргаретт Митчелл или об американском Юге, ясно одно: ее книга не могла бы иметь такого успеха, если бы она была плоской, а не объемной, не распиралась бы изнутри давлением жизненной правды.

Таков первый слой ассоциаций советского читателя — ассоциаций, идущих от американского к русскому дореволюционному (а в русском случае и дореформенному) прошлому. Безусловно, никакая книга, будь даже это подлинная "Война и мир", не докажет благодетельности патриархального рабства и ненужности свободы. Речь идет не об этом, а о том, что человеческое бытие гораздо сложнее и интереснее всех схем элементарной классификации добра и зла, прогресса и реакции. Книга Митчелл бросила вызов этим классификациям — и преодолела их. Идеологические мифы, ею разрушаемые, гораздо сильнее в Советском Союзе, чем в Америке, а значит и воздей-

ствие ее книги на советского читателя должно быть едва ли не сильнее.

Однако не следует думать, что у современных советских людей так уж сильна ностальгия по патриархальному прошлому и что книга Маргаретт Митчелл эту ностальгию провоцирует. Эпоха русского крепостного права, с патернализмом помещиков и блаженной безответственностью крепостных, это, действительно, *Plusquamperfectum*. Главный слой ассоциаций советского читателя более современен. Его гораздо более впечатлит данная в "Унесенных ветром" картина пореволюционной американской действительности — то, что американцы называли "реконструкцией" Юга. Эта реконструкция была зримым воплощением того, что в Советском Союзе называют "историческим прогрессом", его конкретной программой и методом действия.

Глава XXXVII "Унесенных ветром" дает выразительную картину этого прогресса. Даже просвещеннейшие из русских читателей, не знающие, однако, деталей американской истории, будут поражены сходством буржуазной революции (в наших представлениях весьма мирной по сравнению с революцией социалистической) с тем, что и как осуществляла эта последняя. Главное впечатление — космоса, разрушаемого хаосом. Далее идут детали, нам слишком знакомые. Правовой произвол, натравливание низов общества на его уважаемые слои, демагогия, рост преступности, экономическая разруха, конституирование "нового класса" — грязных дельцов, ставших хозяевами жизни ("саквояжники"), — таким оказывается реальный ход осуществления светлых исторических идеалов. Освободители негров сами оказываются расистами, поборники демократии лишают побежденных элементарных человеческих прав. Чего стоит один рассказ о том, как янки, желающие провести в губернаторы Алабамы республиканца Бэллака, возят целыми поездами негров из одного города в другой, чтобы утилизировать их голоса. В этих условиях даже создание Ку-клус-клана представляется естественной мерой самозащиты (и этот сюжет в "Унесенных ветром" настолько скандален, что Палиевский в своем предисловии спешит ого-

ворить свое несогласие с Маргаретт Митчелл по этому вопросу). Соблазн действительно велик: все благородные ("положительные", по советской терминологии) персонажи книги становятся кланерами. Но советский читатель вполне способен их понять: ведь эти люди сделаны тем, что у нас называлось "лишенцы" (очень выразительное слово, которое вряд ли правильно передаст английское *deprived persons*). На событийном горизонте романа появляется даже вполне социалистическая тень — "экспроприация экспроприаторов": угроза конфисковать имущество мятежников (уже в значительной части разрушенное и сожженное).

Конечно, мы знаем, что победа северян не была победой социализма, и Америка после тяжелых испытаний гражданской войны сумела все-таки восстановить подлинную демократию. Но это, в нашем восприятии достаточно абстрактное, знание не может нейтрализовать непосредственное чувство читателя данной книги, увидевшего, что реальность революции и гражданской войны везде одинакова. И книга Митчелл становится для него словом правды о русской революции и русской пореволюционной жизни.

Я бы сказал, что картина, нарисованная Маргаретт Митчелл, напоминает русскому читателю "военный коммунизм" и нэп одновременно. Еще лучше сказать, что она просто пробуждает у нас историческую память. И тут же возникает догадка о том, почему все-таки советские власти разрешили опубликовать эту книгу: реальность революции, данная в ней, настолько тяжела, что, по мнению этих властей, должна не столько вызвать у русских отвращение к их революционному прошлому, сколько предостеречь их от новых революционных попыток. Как говорит в "Унесенных ветром" некий собирательный освобожденный раб: "Хозяюшка, мэ, пожалуйста, напишите моему господину в графство Файет, что я туточки. А уж он приедет и заберет меня, старика, к себе. Ради Господа Бога, а то ведь я тут ума решить, на этой свободе!"

Повторяю: мы сделаем большую ошибку, если реакцию советского читателя на книгу Митчелл реконструируем только как пессимистическую ностальгию или представим ее, эту реак-

цию, в качестве повода для ассоциативной критики большевистской революции. Книга Митчелл тем и хороша, что она не замыкается на любовном воссоздании пленительного прошлого. Автора "Унесенных ветром" никак нельзя представить в образе старой девы, тоскующей о несостоявшемся замужестве. Маргаретт Митчелл сумела написать Скарлетт О'Хара, создала образ потрясающей витальной силы. В этом смысле я и говорю об архетипичности ее героини. Ее установка — не тоска о прошлом, а порывание к будущему, я бы сказал экзистенциальная незавершенность, открытость, способность жить дальше. Присказка Скарлетт: "завтра будет другой день" как нельзя лучше выражает эту экзистенциальную позицию, которую я не стал бы обозначать достаточно пошлым словом "оптимизм". Скорее уж тут следует говорить о стоицизме — о готовности встретить какие угодно удары судьбы и какие угодно новые возможности. Мне очень нравится английское слово challenge. Скарлетт — героиня, способная принять любой вызов. Ретт Батлер говорит ей: "На вашем счету — убийство, увод жениха, попытка совершить прелюбодеяние, ложь, двурушничество и всякие мелкие мошенничества, в которые лучше не вдаваться. — И добавляет: — Все это достойно восхищения".

Это добавление в свою очередь восхитительно. Каждым своим шагом Скарлетт О'Хара реализует формулу Ницше: "жизнь выше морали". Над Скарлетт нельзя произвести морального суда, как нельзя его произвести над самой жизнью.

Фрейд говорил о консервативной тенденции всего живого, о тяге органического к неорганическому. Но в таком случае необъясним сам элементарный факт жизни, на что и указал его оппонент Альфред Адлер. И Адлер репродуцировал идею Ницше о жизни как "воле к власти", о порывании вперед и ввысь. И у Скарлетт, у этой простейшей живой клетки, нет никакой тяги к прошлому. Она говорит о южанам: "Но почему они не могут забыть? Почему не могут смотреть вперед, а не назад?"

Скарлетт — не леди, она любит деньги, она буржуазна. Она нестерпимо вульгарна. Ретт говорит, что дешевый блеск нра-

вится ей больше, чем настоящее золото. И этим она напоминает своего автора: я имею в виду не миссис Митчелл (уверен, что она была вполне пристойной леди), а писательницу Маргаретт Митчелл, ее художественные средства, ее стилистические приемы. Читатель ощущает ее безвкусию, пристрастие к стертым языковым клише, к стандартным метафорам. Но вот это и есть признак художественной удачи — когда неумелость писателя создает новую форму или новый жизненно достоверный образ. Пушкину нравилось, когда дамы говорили неправильно. Маргаретт Митчелл и есть эта самая дама, говорящая неправильно. Ее героиня родилась из духа ее языка. Хейдеггер сказал: язык это дом бытия; всякий язык, добавим к этому, даже неправильный. Одним словом, Скарлетт бытийна.

Но если образ патриархального американского Юга советский читатель готов ассоциировать со старой Россией, а его "реконструкцию" с до сих пор продолжающейся практикой большевистской революции, то Скарлетт О'Хара должна напомнить ему его самого, его исторический и экзистенциальный опыт. И говоря об этом советском читателе, я имею в виду не только интеллектуала Палиевского, неославянофила и знатока англоязычной литературы, а хотя бы и того читателя, которому выпадет удача приобрести дефицитную книгу на упомянутой выше областной партконференции.

В "Унесенных ветром" есть одна потрясающая фабульная деталь: Скарлетт нанимает для работы на своей лесопилке каторжников. Ведь это же архипелаг ГУЛАг, во всяком случае, его модель. Как Советский Союз, она индустриализируется любыми доступными средствами. Другими словами, не только русские "южане" могут узнать себя в Скарлетт О'Хара, но и русские "северяне", не только побежденные, но и победители. Она дает какой-то общий знаменатель к русской судьбе, помогает синтезировать и осознать русский национальный опыт, в том числе и, главным образом, опыт коммунизма. Ибо Скарлетт воспринимается современным русским сознанием как близкий, интимно знакомый персонаж, можно сказать, как аналог русской души, старающейся выжить в отчаянных обстоятельствах. Палиевский говорит, что Скарлетт дей-

ствуует "под давлением обстоятельств", говорит о "временном помрачении" ее души и продолжает; "Этот опыт, конечно, притягивал каждого, кому он был по-своему знаком". В этой фразе нужно переменить грамматическое время: не притягивал, а притягивает, не был, а есть. Палиевский оспаривает отношение самой Митчелл к ее героине как к "проститутке", говорит, что "со временем писательница потеплела к своему созданию". Ясно, что ему самому не нужны были сторонние объяснения, чтобы почувствовать в героине "Унесенных ветром" родную душу.

Это ставит уже вопрос не о Скарлетт О'Хара и не о романе Маргаретт Митчелл, а о тех самых неославянофилах, которые — трудно сомневаться в этом — стоят за русским изданием романа. Чтобы объяснить их американцам, не найти лучшего примера, чем их отношение к роману Митчелл. Американцы знают этот роман, знают, что за ним стоит. Все, что им нужно сделать, — это экстраполировать собственный опыт болезненного национального раскола на Россию, с той, однако, необходимой коррекцией, что действующим агентом такого раскола были у нас не предприимчивые буржуа-янки, сохранившие трезво-прагматическое отношение к бытию, а безумные фанатики-идеалисты, превратившиеся со временем в преступную мафию. Эта мафия называется коммунистической партией Советского Союза. Сохранить сегодня в России прагматическую позицию — это значит инкорпорироваться в эту мафию, и нет иных путей для русского прагматизма. Оппозиционная альтернатива означает ГУЛаг или эмиграцию. Мы не имеем права осуждать людей, которые не принимают эту альтернативу.

Сходную ситуацию Россия переживала много веков назад — татарское иго. И освободили Россию от этого ига не отчаянные храбрецы и не идеалисты, а хитроумные, расчетливые, прагматичные московские князья. Один русский писатель (Илья Эренбург) хорошо сказал о "тех тайниках отечественной сметливости, в которых Иван Калита из курных изб сколачивал государство". Приходилось кланяться татарам, льстить им, прикидываться верными слугами, выпрашивать ярлыки на княжение. Приходилось даже — все для целей той же политики —

выступать в союзе с татарами против русских. К такому союзу прибежал, например, один из знаменитейших русских князей Александр Невский. В русском сознании это не затемнило его образа, — напротив, он был объявлен святым.

Эта параллель между татарским игом и коммунистической партократией подводит нас к еще одному жгучему вопросу. Уместна ли эта параллель — в том смысле, что татары были чуждой, посторонней враждебной силой, а коммунисты как будто бы свои? Палиевский пишет, что вопрос, поставленный романом Митчелл, это — а янки ли американцы? В его подтексте это значит — а коммунисты ли русские? Существует громадный соблазн считать коммунистов не своими, не русскими, социалистическую революцию объявить чужеземным нашествием. У Солженицына есть такие ноты: он писал в сборнике "Из-под глыб", что ударной силой большевиков в революции были не русские, а латыши, венгры, евреи, поляки, китайцы. Судя по некоторым данным, сейчас Солженицын готов отказаться от этого мнения, об этом свидетельствует, например, его статья о польских событиях "Главный урок". Но вот что любопытно: если мы обратимся к американскому опыту, в данном случае, к той же книге Маргаретт Митчелл, то найдем в "Унесенных ветром" следующую интересную деталь: она пишет, что и в армии северян была масса пришлых элементов, людей, не умевших даже говорить по-английски. Случайно ли такое совпадение? А если нет, то как нам надо его понимать?

Я думаю, что этот факт, при всей его эмпирической неоспоримости, нужно, однако, понимать не в реалистическом, а в символическом смысле. Всякая революция всегда — это разрушение органического строя бытия, "медлительной красоты прежних дней", как говорит Митчелл. Естественно, что в этом процессе такую заметную роль играют элементы, чуждые прежней органике, но они — не действующая причина указанного процесса, а простой его индикатор.

Как, однако, следует относиться к самой этой исторической и бытийной органике? Всегда ли нужно за нее держаться? Выдающийся русский мыслитель прошлого века Борис Николаевич Чичерин дал очень резкую и убедительную критику то-

го, что мы сейчас называем организмической теорией общества. Эта критика во многом предшествует той, что дал Карл Поппер в книге "Открытое общество и его враги": "органическое общество" ориентировано не антропологически, а космически, оно воспроизводит в своем строении некий природный цикл, с его вечным возвращением, с его биологической, а не интеллектуальной ритмикой. После Поппера можно было бы и не вспоминать Чичерина, но я это сделал потому, что у Чичерина есть одно замечательное определение: он говорит, что в обществе элемент неорганический необходим, этот неорганический элемент и есть свобода. В органическом цикле нет места для свободы, для нового; это новое дается только в человеческой деятельности, выходящей за рамки любой — как природной, так и социальной — органики. И если наши неославянофилы чем-то отличаются от своих предшественников, славянофилов просто, то это именно тем, что у них, в самой их жизненной позиции, есть эта обращенность к новому, его приятие, готовность включить его в собственный экзистенциальный горизонт. Другими словами, их позиция отличается от таковой прежних славянофилов тем, что она не романтическая, а реалистическая.

Старые славянофилы были романтиками, и поэтому реакционерами (не в политическом значении этого слова), ибо всякий романтизм реакционен, лучше сказать — реактивен, он всегда отталкивается от данного, от "жизни в настоящем". В этом он психологически близок искусству, которое, как объяснил хотя бы Маркузе, стремится в довременное и безвременное "оно", в материнскую утробу, в ночь бытия.

Сам Фрейд говорил, что произведение искусства структурно тождественно неврозу. Искусство обращает нас к "принципу наслаждения", — недаром Фрейд сравнивал его с легким наркотиком. В построениях иенских романтиков сам романтизм понимался как философия искусства, как "поэзия поэзии". Но эта эстетическая философия имела свою онтологическую корреляцию, ибо искусство провозглашалось моделью бытия. Нужно ли говорить о том, что таким образом сконструированное бытие было именно "органичным"? По-

этому всякое романтическое мировоззрение в глубине своей натуралистично, в нем нет места для нового, для свободы, несмотря на столь известное аффектированное романтическое бунтарство. Романтизм внутренне не свободен, как об этом писал Бердяев; хотя сами наши романтики-славянофилы в поверхностно-политическом измерении были скорее либералами, осуждали крепостное право и даже требовали "свободы мнений".

Наши неославянофилы отличаются от прежних тем, что они ищут не возвращения к органическим началам бытия (хотя именно "деревенская проза" этого как будто и требует), а синтеза — синтеза органической традиции и новых содержаний жизни. От "принципа наслаждения" они обращаются к "принципу реальности" — и встречаются в ней с вышеуказанными татарами русского происхождения, с "внутренними турками", как говорил один старый русский публицист. Отсюда — та их позиция, которая очень многим кажется морально-подозрительной, даже более того — несовместимой со статусом интеллектуала: сотрудничество в подцензурной печати, готовность идти на компромисс с властями. Отношение к неославянофилам советской оппозиционной интеллигенции такое же, как отношение атлантских дам к Скарлетт О'Хара. Я думаю, что не только наши либералы-западники, но и Солженицын не доверяет этим людям. Но все, что я тут стараюсь доказать, — это то, что такая позиция в своей экзистенциальной глубине более сложна и, я бы сказал, более перспективна. Установка их — не на раскол, а на примирение, на целостный синтез национального опыта.

Если бы неославянофилы были только сервилитами — у них не было бы причин говорить о России, достаточно было бы при всякой okazji продемонстрировать свою марксистскую лояльность. У них есть очень солидное алиби: точно такую же позицию занимал Николай Бердяев, говоривший, что большевизм — это момент русской судьбы, что его нельзя механически отбросить, его нужно внутренне изжить. Нельзя противопоставлять его добродетельной русской душе как некое внеположное зло. (Это не значит, что я считаю коммунизм специ-

фически русским феноменом, коммунизм это мировое зло.) То же самое, в более широком контексте, говорил Юнг, учивший, что "самость", "индивидуация" предполагает интеграцию зла. Христос как символ (архетип) самости — это распятый Христос: добро и зло, свет и тьма — четыре стороны креста.

Есть русская поговорка: полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Наши неославянофилы — черненькие. Но ведь и Скарлетт О'Хара — не беленькая. "Бабуля" Фонтейн говорит у Митчелл: "Эшли только и учили, что читать книжки, и больше ничего. А это не поможет человеку вылезти из тяжкого испытания, которое выпало сейчас всем нам на долю". Неославянофилы — отнюдь не книжники, хотя и литературоведы по своему социальному статусу.

Марина Цветаева писала о пушкинской Татьяне: "У кого из народов — такая любовная героиня: смелая и достойная, влюбленная — и непреклонная, ясновидящая — и любящая". Если бы славянофил прежних дней сравнил Татьяну со Скарлетт, он бы сказал, что первая — это воплощение высоко-христианской русской души, а вторая — символ растленного Запада. Неославянофилы так не скажут. В этом различии — не свидетельство упадка русской морали, а доказательство громадной умудренности нынешней русской жизни.

Есть еще одно обстоятельство, как будто оправдывающее настороженное отношение к неославянофилам. Их позиция кажется имплицитно националистической, а значит чреватой антисемитизмом. Так, по крайней мере, увязывают два этих сюжета наши нынешние либералы-западники.

Как всякий более или менее просвещенный русский, я много размышлял о еврействе — и пришел к выводу, что еврейство нужно понимать не как некий космополитический остаток человечества, а скорее как его извечное биологическое ядро. Еврейство — это, так сказать, зародышевая плазма человечества, по природе своей, бессмертная. Само еврейство органично в высшей степени. Ретт Батлер спрашивает Скарлетт, нет ли в ней, кроме ирландской и французской крови, еще и еврейской. Бывает ситуация, в которой всякий человек

становится евреем. Эта ситуация — выживание. Таким "евреем" был Ницше. Такими евреями стали сейчас все русские. Русская задача сейчас — это не борьба за политические права, а борьба за выживание.

В нашей диссидентской литературе есть одна серьезная книга, трактующая коммунизм как социально организованный инстинкт смерти; это книга Игоря Шафаревича "Социализм как явление мировой истории". Нельзя жизнь, органическое бытие считать исчерпывающим определением человеческого существования; но мы не можем отрицать самый ее принцип, отвергать самый ее факт, особенно сейчас, когда в России речь идет о простейшем из человеческих прав — праве жить.

Русский национализм сейчас — не более чем эта борьба за выживание, а отнюдь не империалистическая экспансия во внешней политике и антисемитизм во внутренней, как это пытаются представить те наши либералы-западники, которые практику "реального социализма" советского образца объясняют националистическим перерождением социалистических идей в России. На деле отношение здесь обратное: это социалистические идеи провоцируют худшее в любой национальной жизни. Но опыт зла необходим для полноты бытия, для его трагедийного восполнения. Его нужно принять и пройти через него. Это то, чего не хватало славянофилам. Бердяев в книге о Хомякове говорил, что мировоззрение славянофилов было бестрагичным, у них не было катастрофического опыта. Этот опыт появился у нас.

Когда-то в России (и в Советском Союзе) был чрезвычайно популярен еще один англоязычный роман, написанный женщиной. Это роман Этель Лилиан Войнич "Овод". Героем его был революционер. Теперь на смену этому революционеру пришла Скарлетт О'Хара. Отрадно видеть, что нашу жизнь помогает осознать символика американского опыта.

КТО ВИНОВАТ?

Читатели о книге Григория Свирского "Прорыв"

ОБ ЭТОМ ЛИ МЫ МЕЧТАЛИ?

Размышляя над книгой Г.Свирского, я хочу начать с вопроса: для чего был создан Израиль?

Израиль был создан для того, чтобы евреи после 2000-летнего галута получили бы, наконец, свою Родину. Следовательно, Израиль — это государство АЛИИ!

Ряд деятелей, вклад которых нельзя переоценивать, высказали свои опасения по этому поводу.

"Я с содроганием думаю о создании еврейской колонии в Палестине... Это будет еврейское государствико, ортодоксальное и нелиберальное..." (Из письма барона Ротшильда Т.Герцелю, 1902г.)

Т.Герцель ответил барону: "Мы не допустим, чтобы раввины заправляли в нашем государстве!"

Допустили! И не только это!

Хаим Вейцман, первый президент государства Израиль, опасался, что евреи после многовекового галута растеряли чувство государственности.

Марголин восклицал: "Сионизма, как такового, в Израиле нет! Он остался за пределами страны!"

В настоящее время можно констатировать, что опасения, высказанные до и в начале создания еврейского государства, к сожалению, оправдались.

Израиль не стал государством АЛИИ!

Об этом говорят факты по абсорбции не только российской алии 70-х годов, а также случаи зверского обращения с йеменскими евреями, издевательство, грубость и равнодушие к любым новоприбывшим. А если вспомнить цель создания Израйля — АЛИЯ, то абсорбцию, такой, как она была и есть, можно квалифицировать как государственное преступление, в котором в первую очередь повинен истеблишмент, независимо от партийной принадлежности!

Нельзя забывать, что мы живем в период европейско-американской цивилизации. Такое маленькое государство, как Израиль, с его 3,5 млн. еврейским населением, расчлененным на отдельные этнические группы, естественно испытывает влияние многомиллионного арабского окружения. А так как общее развитие этого окружения отстало от современных прогрессивных тенденций, то и влияние это можно считать отрицательным по закону энтропии.

Устоять перед энтропией можно только с помощью притока внешних прогрессивных сил, новых передовых идей и т.д.

Опасность, указанная выше, велика и ощущается во всех сторонах общественной жизни, что можно подтвердить высказываниями представителей различных слоев населения.

"Израилю алия не нужна; Израиль — тонущий корабль, и, как таковой, он должен избавляться от балласта и не перегружать себя новыми пассажирами", (из обсуждения книги Г.Свирского "Прорыв").

"Восток хорош в арабских сказках, а в жизни — это лень, воровство, грязь, безответственность, полное презрение к образованным людям, взяточничество, кумовство, спекуляция, черный рынок и т.д., и т.п." (Из статьи И.Белопольской — "Наша страна", 20.1.84, в которой, к сожалению, много печальных и горьких истин.).

"... Например, бойкот произведений каких-то композиторов, скажем Вагнера или Штрауса. Это — нацистские повадки. Так в свое время подвергали бойкоту произведения евреев". (Из интервью с судьей Верховного суда Хаимом Коэном).

"... Я начинаю думать, что арабы нам ближе, чем ашкеназим. Они отделяются от меня, так я иду обратно, к арабам. Это будет им наказанием: арабы из Шхема будут мне ближе, чем ашкеназим из Польши..." (Авиягу Медина. "Кто — кого?", Михаль Мирон, "Едиот Ахронот").

Цитаты можно продолжать до бесконечности. Они отражают наличие этнической вражды между отдельными группами евреев, которая используется самым низким образом в политической игре партийными функционерами различных мастей.

В вопросе о 180 тысячах евреев, приехавших из России, надо учитывать очень важный момент.

Отсутствие после революции свободы частной инициативы, предпринимательства оставляло евреям Советского Союза только одну возможность для успеха в жизни — стать лучшим в выбранной сфере деятельности, что невозможно без достаточного объема знаний. Поэтому процент дипломированных специалистов в общей массе прибывших из России, намного выше, чем у олим из других стран. Это не значит, что российская алия состоит только из интеллектуалов, а другая — только из торговцев и подметальщиков улиц. Я говорю о средне-взвешенных величинах.

Вполне естественно желание каждого специалиста продолжать свою деятельность в области выбранной профессии. И именно в этом вопросе многие из нас столкнулись с недоверием, непониманием и, что особенно печально, с нежеланием понять устремлений прибывших специалистов. Это обстоятельство для многих является основной причиной при отъезде из страны, а также для большинства "прямиком".

Одними призывами или проклятиями положения не исправишь. Израиль теряет свою привлекательность, как "земля обетованная" для многих и многих евреев.

В то же время сама наша алия в израильских условиях оказалась совершенно не приспособленной к борьбе за свои пра-

ва, за достойное место в общественной и политической жизни страны. Она расползлась по различным группировкам, обществам, землячествам, предпочла теорию "малых дел", примкнула к тем или иным партиям и за массой незначительных, второстепенных разногласий не увидела и не осознала своей силы, своего значения, своего смысла пребывания в стране.

Факты, действительность указывают на то, что в обозримом будущем Израиль может превратиться в обычную ближневосточную страну с арабской ментальностью, далекую от идеалов современной цивилизации, с начетническим иудаизмом в роли государственной религии.

Об этом ли мечтали сотни тысяч евреев, отдавших свои жизни за многовековую сказку: "А шана абаа бэ Иерушалаим!"?

Об этом ли мечтали шесть миллионов, погибших в Катастрофе?

Об этом ли мечтал Герцель, Трумпельдор, Йонатан?

Об этом ли мечтают Бегун, Слепак, Нудель, томящиеся в застенках тоталитарного режима?

Об этом ли мечтали большинство из нас, прибывших из России?

*Меир Бар-Ноах
Газета "Наша страна", Израиль*

В ПЛЕНУ СОТВОРЕННЫХ СТЕРЕОТИПОВ

Похвально, что редакция журнала проводит дискуссию по роману Г.Свирского.

Одним из центров авторского внимания стала абсорбция выходцев из СССР, сложный и болезненный для каждого прибывшего процесс вживания в израильскую жизнь. Самые эмоциональные и драматические страницы посвящены трагедии русских олим, которые в множестве эпизодов, не выдержав бездушия, бюрократии, откровенной враждебности, страдают, протестуют, отчаиваются, заполняют психиатрические больницы, умирают от инфаркта, кончают жизнь самоубийством, бегут из страны.

Г.Свирскому и его героям совершенно ясно, что алия и аб-

сорбция намеренно проваливаются власть держащими, дабы прервать поток репатриантов из СССР, которые единственные способны сотрясти столпы, на которых держится еврейское государство: коррупцию, предательство идей сионизма и т.д. "Они" боятся "нас", в большинстве своем носителей лучших бойцовских качеств и истинной культуры, бескорыстных, стремящихся воздвигнуть истинный Третий Храм. "Они" в романе — не только официальный Израиль, но практически все население, за исключением горстки сабров и старожил.

Г.Свирский не отразил в романе доминирующие тенденции в коллективном сознании репатриантской массы, грубо переставил акценты. Предоставлю читателям самим решить, насколько "мы" были в Израиле "нежеланными" и действительно ли "пришельцев из России выталкивают, выбрасывают". Хрестоматийными стали данные о трудоустройстве приехавших из России специалистов, согласно которым 30% врачей Израиля, 40% инженеров и медсестер, 10% ученых — выходцы из СССР, которые всего-то составляют 4% населения нашей страны. При этом 75% специалистов устроились на постоянную работу не позже чем через полтора года после приезда.

В 1978-80 годах был опрошен круг репатриантов, которые прибыли в 1974-76 годах. Почти все они считают, что их жизненный уровень гораздо выше, чем был у них во время пребывания в СССР и выше жизненного уровня среднего израильтянина. В другом исследовании наши бывшие соотечественники заявляют, что материально живут лучше их коллег-израильтян, занимавших те же должности (объясняется, конечно, и тем, что русские семьи малочисленнее и получают в первые годы значительные льготы). Согласно обследованию, проведенным в 1981 году, 80% репатриантов из СССР после пяти лет жизни в стране ощущают чувство принадлежности к ней, признают себя израильтянами, как они отмечают, "полностью" или "в значительной мере".

Можно и нужно говорить о недостатках абсорбции: чиновники нередко видели общую массу, а не отдельных людей; не хватало квартир общественного фонда; медленно решались вопросы расширения рабочих мест; насущной стала задача со-

кращения сроков получения квартиры, трудоустройства, налаживания быта... мало ли чего нужно было сделать лучше, профессиональнее, душевнее, но то, что делалось не давало повода одному из основных персонажей "Прорыва" утверждать: "На протяжении трех лет я убедился, что никто /выделено Г.Свирским — К.Б.)... никто не интересовался проблемами алии серьезно".

Видимо, сами по себе, если верить Свирскому, возникли многочисленные районы благоустроенных жилищ, создана разветвленная сеть центров абсорбции, курсов по обучению иврита, разработана система стажировки и усовершенствования и т.д. Герои "Прорыва" получали всевозможные скидки, льготы, стипендии, ссуды на весьма выгодных условиях. Образована эффективная система социальной помощи и обеспечения пенсионеров, инвалидов, хронических больных.

То, что совершило еврейское государство, дало повод председателю Международного комитета миграции в Женеве Джеймсу Карлину сказать уже в восьмидесятых годах: "Система абсорбции в Израиле является одной из лучших в мире. Эта страна может послужить примером для всех".

И все же в Израиле немало неустроенных и несчастливых репатриантов. Исследования, на которые я уже ссылался, говорят о 15% выходцев из СССР, не удовлетворенных тем, как сложилась их судьба. Созвучна и другая цифра — 10% (16-17 тысяч) приезжих и после пяти лет продолжали считать себя "в значительной мере" репатриантами.

Разговор об этих пятнадцати процентах — тема особая. Отмечу лишь, что были в них и жертвы злой воли и недоразумений, специалисты, не удовлетворенные своим профессиональным статусом, который смогла им предоставить маленькая страна. У меня нет объективных данных и могу судить, исходя из личного изучения проблемы, что все же значительная часть из указанных полутора десятков процентов, люди замкнутые, с несоразмерными профессиональными и общественными амбициями, носители груза прежних понятий и стереотипов, неспособные сориентироваться, пойти на компромисс, избрать правильную форму борьбы за себя. Именно

в этой среде, не разобравшись в истинных пропорциях, рекрутировал своих героев Г.Свирский, выдавая их судьбу за всеобщую трагедию русского еврейства в Израиле.

В одном из своих выступлений писатель сказал, что часть тиража особо печатается для распространения в Советском Союзе. Станем на место недавних наших соотечественников, которые прочитают роман. Первое, что они поймут, это то, что в Израиле их ждет вечный бой за существование, не за вживание, а за выживание во враждебном окружении. Второй их вывод — в Израиле современный человек жить не может. Приведу лишь крошечную часть примеров, которыми автор подталкивает к подобному мнению: Израиль "отбросил Запад вместе с индустрией XX века", "Вообще, мы возвратились на 50 лет назад", "Вот основа всех бед Израиля. Наша индустрия. О военной не говорю. Не знаю. Остальные, за исключением нескольких предприятий... заводы-лавочки. Их техническая оснащенность на уровне Того и Камеруна", "Израиль — это "ферганский аул", "местечко 16-го века с его типичной ментальностью". Подобную характеристику стране дают не профаны, а экономист, инженер, доктор технических наук. Свою каплю яда добавляет и писатель: "Мы приехали в тридцатые годы".

Несть числа большим и малым неправдам, населяющим "Прорыв", в надежде, что далеко не каждый читатель разберется в истине.

В стране, по Свирскому, царит "культурный вакуум", чудовищная природа и климат, нет свободы. Удивительно ли, что из Израиля "все русские бегут"? Опять вооружусь цифрой, чтобы сказать: в семидесятых годах покинули страну не более пяти процентов репатриантов из СССР.

Считается, что автор не отвечает за высказывания своих персонажей, но писатель имеет достаточно способов, чтобы выразить свое отношение или дать возможность читателю самому разобраться. Г.Свирский же всем своим строем романа солидаризируется со своими героями, выдавая их неправду и заблуждения за истину.

*Константин БРУСКИН
Израиль*

СТУЛОМ ПО ЧЕРЕПУ

Мы далеки от намерения брать полностью под защиту роман Г.Свирского. И на наш взгляд, в нем допущены отдельные заострения в изображении теневых сторон действительности; есть в нем литературные недоработки и небрежности. Но мы убеждены в том, что нет еще равного ему произведения, которое в художественной форме и вместе с тем документально рассказало бы о первой массовой алии из СССР, о ее сложных проблемах и о крупных недостатках в абсорбции евреев из СССР.

Шимон Маркиш ошибается, уверяя нас, что в Израиле и диаспоре устали от споров, кто виноват в гибели алии. Быть может, устали те, кто действительно в этом повинен, да еще те, кто их защищает. Те же, кто искренне желают, чтобы с прибытием новой волны репатриантов не повторились ошибки прошлого, думают иначе: такие считают "Прорыв" книгой полезной и актуальной.

Когда читаешь статью Маркиша, на память иногда приходят приемы советских критиков, которые, стремясь опорочить неугодного автора, выдергивают из контекста куски, тем самым искажая смысл им сказанного. Например, Свирский говорит о защите новых репатриантов от возможных террористических актов в аэропорту Лод. (Напомним, что в описываемое время — лето 1972 года — там произошло кровавое нападение банды Козо Окамото на пассажиров). Рецензент же видит в этом эпизоде проявление "озлобленности" автора и пытается доказать нам, что в романе речь будто бы идет о слежке за вновь прибывшими даже в уборной.

Маркиш не хочет позволить себе ни одного слова доброго о Свирском. И уж если он такое слово проронил, то сразу спохватывается. Так, отметив бесстрашие Свирского-борца, он торопится сказать о "слабости" Свирского-беллетриста: "Прославился он — в московских литературных кругах и на Западе — не "пером мастера", но отвагой, действительно выдающейся, безумным в советских условиях мужеством открытых выступлений против антисемитизма и цензуры".

Но и спев песню "безумству храбрых", Маркиш оставляет мотивы "заздравные" и варьирует лишь напевы "заупокойные".

Он всячески принижает все, что издано Свирским за рубежом: "Вышедшие на Западе "Заложники" — скорее репортаж, чем роман". О содержании книги — государственном антисемитизме в СССР и первых попытках борьбы с ним — у критика ни слова.

"На лобном месте", как считает Маркиш, — "попытка очерков литературной жизни и быта послевоенной России, попытка, скажем прямо, с негодными средствами, полная самых невероятных промахов и пропусков". А между тем, профессор Ефим Эткинд в предисловии к книге пишет, что в Свирском "совмещаются взволнованный и чуткий читатель, превосходный исследователь, веселый, общительный собеседник, памятливым мемуарист и добрый человек... в этой книге доминирует талант, память и благородство".

Даже осудивший "Прорыв" израильский журналист Константин Брускин высоко оценил остальные книги Свирского, вышедшие на Западе: и "Заложники", и "Полярную трагедию", и "На лобном месте". О последней он отозвался так: "Писатель открыл нам глаза на многое, что творилось в Советской России. Прочитав "На лобном месте", я позавидовал Свирскому: все мы тогда читали одни и те же произведения, наблюдали одни и те же факты, но лишь ему удалось прийти к выводам, которые сделали выход его мемуаров общественным явлением".

В связи с этим становится ясно, что у Ш.Маркиша отсутствует беспристрастие исследователя, что он походя уничтожает Свирского и как очеркиста-мемуариста, и как преподавателя, и как беллетриста, а его "Прорыв" пытается представить как никуда не годное произведение изящной словесности.

Все наши знакомые читали "Прорыв", не отрываясь, а Маркиш едва одолел эту "грудку заготовок...", "...хаотическое нагромождение,..", и т.п.

Разделавшись с художественными особенностями "Прорыва", критик заодно расправился и с идейным содержанием ро-

мана — борьбой семьи Гуров с советскими юдофобами и израильским бюрократическим аппаратом. А именно такая расправа, судя по всему, является сверхзадачей Шимона Маркиша, который, задавшись целью свести на нет значение произведений Свирского, основной упор делает на критику их формы, но метит и попадает в их содержание.

Вот откуда у критика, говоря его же словами, такая оголтелая запальчивость, жуткая ненависть к Свирскому "до дрожи, до кровавой пелены в глазах". Подумать только, что посмел сказать Свирский!

Читая рецензию Ш.Маркиша, не можешь отделаться от чувства, что рукою ее автора водило желание отомстить писателю за что-то или за кого-то. Быть может, в вымышленных фигурах, среди которых, как говорит рецензент, "любой из посвященных... без труда угадывает реальные прототипы", выведено близкое ему лицо. Не этим ли и объясняются тон и стиль рецензии, а также "оголтелая запальчивость" Ш.Маркиша, которую он почему-то приписывает автору романа?

А возможно, имелись и какие-то другие соображения, помешавшие рецензенту дать объективный анализ произведения, но подстегнувшие его включить романиста в компанию мосеров — доносчиков на народ (уж не "врагов ли народа"?!), да еще утверждать, что "озлобленность Свирского — на грани патологии", что он подвержен "мукам нечистой совести", а также "мании преследования, сочетающейся, как водится, с манией величия".

Резюмируя сказанное и проходя мимо многих других, мягко выражаясь, "спорных" положений статьи Ш.Маркиша, невольно приходишь к мысли: в его рецензии серьезной критики ничтожно мало, зато брани много.

Когда-то в нашей прежней жизни запомнилась нам сатирическая баллада Дыховичного и Слободского "О критиках". Отрывком из этой баллады нам хотелось бы и закончить. (Приводим его по памяти).

А есть еще критики такого рода:
"Стулом по черепу" — это их труд.

Вещая от имени "всего народа",
они в порошок неугодных сотрут.

Вышла повесть "Дорога" писателя Зуева.
Каждый честный читатель, стоящий на страже,
прочитав эту книгу, воскликнет: "— Ату его!
Пасквиль! Грязный навет! Умышленное вражье!

И проблемы героев "Дороги" сомнительны.
Нет сюжета и действие вовсе не движется".
"Запретить надо, — скажет читатель решительно, —
эту мерзкую, злобную, вредную книжицу".

Присмотритесь, уважаемые читатели, к рецензии Шимона
Маркиша. Не по указанному ли выше рецепту она написана?

*М.ГРИНГРУЗ
Ш.МИЗЕРУХА
Израиль*

Уважаемый г-н Редактор!

Я не писатель, я — читатель, не имеющий специального ли-
тературного образования. Я никогда бы не осмелился всту-
пить в литературную полемику, если бы не призыв редакции
"Время и мы" (№87).

Я читал книгу Г.Свирского "Прорыв" сравнительно давно
и не могу отделаться от чрезвычайно неприятного чувства, ко-
торое связано с явной тенденциозностью, с которой этот ро-
ман написан. Побудительные мотивы этого мне ясны, но я на
них останавливаться не буду.

Очень обрадовала меня статья Шимона Маркиша (пусть она
и не безупречна), в которой автор высказывает мысли, полно-
стью мною разделяемые. Статья Е.Майданека, напротив, пред-
ставляется мне "мелкой" и совершенно не убедительной.

Доктор Юлий ГЛАЗМАН

Уважаемый Редактор!

Статья Маркиша "Куда прорвался Свирский?" вызвала в
нас, мягко выражаясь, чувство глубокого удивления. Эта ста-
тья является рецензией на книгу Свирского "Прорыв".

Рецензия может быть положительной, может быть и отри-
цательной, но всегда предполагается серьезный анализ произ-
ведения. Статья Маркиша представляет собой не рецензию, а
поток брани и оскорблений в адрес автора. Она написана в
худшем стиле советского окрика. Интеллигенты, находясь в
СССР, страдали и продолжают страдать от подобного стиля.
Неужели следует и сюда приносить эту традицию? Казалось
бы, что горячая любовь к Израилю и многолетнее проживание
в Швейцарии должны были помочь автору статьи развить куль-
турный литературный стиль.

Мы считаем Ваш журнал одним из лучших. Тем более было
странно увидеть на его страницах поток брани вместо се-
рьезного критического разбора. Нам кажется, что журналу
следует извиниться перед Г.Свирским.

В любом случае мы рассчитываем на публикацию этого
письма.

С уважением

*Лия БОРЩЕВСКАЯ
Владимир КРЕСИН
(Окленд, США)*

ОТ РЕДАКЦИИ

На этом мы заканчиваем обсуждение книги Григория Свирского
"Прорыв". В ходе этого обсуждения, которое началось с полемиче-
ских статей Шимона Маркиша "Куда прорвался Григорий Свирский" и
Е.Майданека "Как это делается", были высказаны разные точки зре-
ния — и о книге, и о проблеме, которой она посвящена. Многие читате-
ли подчеркивали, что автор впервые в художественно-документальной
форме поднимает проблему, которая имеет поистине историческое зна-
чение как для судеб еврейского народа, так и для государства Изра-
иль. В книге делается попытка ответить на вопрос, который не может
не волновать мировое еврейство — как получилось, что массовая ев-
рейская эмиграция из СССР уже через несколько лет после своего за-
рождения начала выдыхаться и в конце концов — как это ни печально

сознавать — потерпела провал. Разумеется, роман Свирского не лишен недостатков. Есть в нем фактические неточности и художественные просчеты. И все же большинство участников обсуждения сходится на том, что Григорий Свирский справился со своей задачей.

Да, можно говорить о недостатках книги. Но нельзя отрицать того, что автор не испугался поставить самые острые вопросы еврейской эмиграции. Он во весь голос сказал об ответственности тех, в чьи руки евреи из СССР вверили свою судьбу, и кто, по-видимому, не осознал, сколь важная историческая задача была возложена в эти годы на государство Израиль и его руководителей.

Однако, нам думается, что значение романа не только в том, что в нем сказана горькая правда о судьбах алии и причинах ее провала. История не остановилась. Евреи продолжают ехать в Израиль. Не исключено, что мы станем свидетелями новой массовой эмиграции из СССР. Мы ждем этой эмиграции, которая откроет возможность для свободной жизни тысячам наших бывших соотечественников.

Естественно, что провалы и ошибки прошлого не должны повториться. И в этом случае "Прорыв" Григория Свирского не может не сыграть своей роли — как книга памяти и предостережения, помогающая много понять и переосмыслить тем, на ком лежит ответственность за судьбу еврейской эмиграции.

Григорий СВИРСКИЙ

ПРОРЫВ

Роман о судьбе эмиграции из СССР

Рецензент лондонской газеты "Таймс" Э.Литвинов так писал об английском издании романа Григория Свирского "Заложники" ("Кнопф", 1976 г.): "Горечь отверженности, разделенная многими советскими евреями, дает свой привкус каждой странице "Заложников". Похоже, что от расточительства такого патриотизма и такого таланта советское общество теряет гораздо больше, чем оно думает".

Джон Эриксон в "Сэнди Таймс": "Описание этого соединения жестокости, шовинизма и антисемитизма... как санкционированного состояния умов оставляет неизгладимое впечатление".

В новом романе "Прорыв" Свирский остается верен себе и своему таланту. Главные действующие лица — люди, чья судьба поставила перед моральной дилеммой: остаться жертвами, покорно принимающими советскую действительность, или вступить в отчаянную борьбу за право эмиграции. Суды за изучение иврита, "Самолетный процесс", "Письмо 39-ти", травля еврейских активистов — вся документальная канва еврейской эмиграции сохранена автором в романе.

Но не менее драматичными оказываются и главы, посвященные жизни героев в Израиле и на Западе. Неизбежная идеализация "земли обетованной", придававшая им силы в неравной борьбе, оказалась для многих источником мучительных разочарований при столкновении с реальностью. Чудовищная этническая и культурная чересполосица в молодом государстве, окруженность врагами, ограниченность природных ресурсов, приливы и отливы эмиграции, бескорыстный энтузиазм и цепкая коррупция — все дано автором через реальные, человеческие драмы, через судьбы героев.

"Прорыв" — многоплановая эпопея, созданная пером мастера, яркое историческое полотно, посвященное одному из самых драматичных эпизодов новейшей истории: "исходу" сотен тысяч евреев (а затем и неевреев) из России на Запад.

Цена книги (560 стр.) — 18 долларов.

Заказы отпр. по адресу: Hermitage, P.O.Box 410, Tenafly, N.J. 07670, USA
К стоимости заказа добавьте 1.50 дол. на пересылку

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПИТЕРЕ РЕДДАВЭЕ

Вместо предисловия

Питер Реддавэй работает сейчас в Вашингтоне, но родился он в Англии, в университетском городке Кембридже. Там, в Кембриджском университете, он учился, овладел русским языком и специализировался на русской истории. Но свою аспирантуру Питер Реддавэй прошел в Америке, получив степень доктора в Гарвардском университете. После этого, до своего переезда в Америку он был профессором Лондонской школы экономики и политических наук. Сейчас он возглавляет Кеннановский институт в Вашингтоне — крупнейший не только в Америке, но и вообще на Западе научно-исследовательский центр по изучению России и Советского Союза, который был создан по инициативе известного американского ученого и дипломата Джорджа Кеннана.

Исследовательские интересы профессора Реддавэя вот уже около двадцати лет сосредоточены на проблематике прав человека в Советском Союзе. Он — признанный авторитет в этой области, хотя известен и своими работами, посвященными и другим аспектам советской истории и политики.

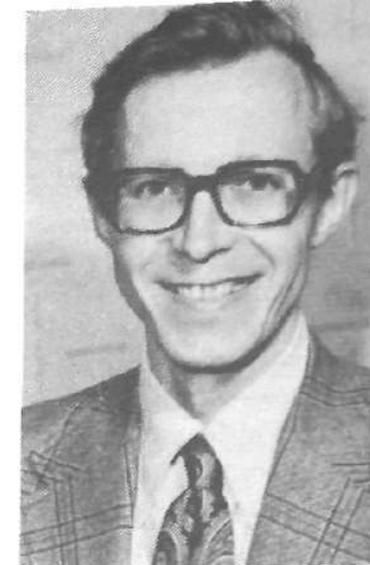
В 1972 году была опубликована книга Питера Реддавэя "Неподцензурная Россия", которая познакомила западных читателей с теми независимыми от официальной идеологии направлениями мысли и деятельности, которые начали заявлять о себе в Советском Союзе с середины 60-х годов. Эта книга была переведена также и на русский язык. Ее не раз отбирали на обысках, которые проводились органами КГБ в квартирах диссидентов. В 1977 году вышла еще одна книга Питера Реддавэя "Психиатрический террор" — подробный и документированный отчет о том, как советские власти используют психиатрию для подавления инакомыслия.

Сейчас профессор Реддавэй работает над книгой, в которой будет освещена проблематика прав человека в Советском Союзе в 80-е годы.

Всех этих тем мы и затронули в нашей беседе.

Борис ШРАГИН

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ АМЕРИКИ О ДЕМОКРАТИИ И ТОТАЛИТАРИЗМЕ



СОВЕТСКАЯ ПОЛИТИКА, ДИССИДЕНТЫ И ЭМИГРАЦИЯ

Интервью Бориса Шрагина с профессором Питером Реддавэем

Вопрос. При любых статистических подсчетах количества диссидентов в Советском Союзе становится ясно, что их там — единицы. Почему же, по вашему мнению, их так упорно преследуют? Разве они представляют какую-либо угрозу существующему порядку?

Ответ. Думаю, что советские власти отличаются особым складом ума. Они рассуждают приблизительно так: "Если мы не подавим как можно решительней диссидентов теперь, когда они малочислены, инакомыслие может распространиться, и опасность станет куда более значительной. Помнится, много лет тому назад я прочел роман Всеволода Кочетова. Это был "Секретарь обкома" или "Братья Ершовы" — точно сказать затрудняюсь. Один из героев рассуждал там о событиях в Венгрии 56-го года. Он говорил: "Венгрия от нас не отгорожена стеной. — И прибавил. — Если бы венгров не остановили, они бы вешали коммунистов на фонарях".

В глубине души коммунистические руководители знают,

что их власть не так уж прочна, что они на самом деле не пользуются действительной поддержкой народных масс. Отсюда и не покидающее их ощущение опасности инакомыслия, если оно примет какой-то размах. Опыт Восточной Европы дает, надо сказать, серьезные основания так думать. И вполне логично, что Кочетов в упомянутом мною отрывке напоминал о Венгрии. В 56-м году в Венгрии, в 68-м году в Чехословакии происходило нечто весьма угрожающее, с точки зрения советского руководства. А то, что случилось в Польше в 81-м году, для них и совсем ужасно. Я лично не думаю, что советский народ целиком и полностью подобен народам этих стран. Инакомыслие в Советском Союзе едва ли будет распространяться с той же интенсивностью, как в Восточной Европе. Но нечто подобное (пусть в меньшем масштабе) возможно и в СССР. Интересно в этой связи вспомнить одно место в "Воспоминаниях" Хрущева. Там он писал примерно следующее: "С одной стороны, мы действительно ослабили контроль, и люди стали больше высказывать то, что они искренне думали. Но в то же время мы боялись этой "оттепели", боялись, что она может породить поток, который начнет сносить все подряд и который уже трудно будет остановить".

В о п р о с . Насколько мне известно, в своем новом исследовании вы отмечаете усиление репрессий в Советском Союзе. Причем, направлены они не только против диссидентов, но и граждан, которые добиваются права на эмиграцию. Что вы можете сказать об этих двух группах людей — можно ли, в конце концов, представить их как одну противостоящую властям силу?

О т в е т . Это, конечно, разные категории. Кстати, и сами диссиденты — тоже разные. Например, правозащитники и представители разных форм религиозного возрождения. Но диссиденты и те, кто добивается права на эмиграцию, — это качественно разные группы. Эмигранты хотят, в сущности, одного: покинуть Советский Союз и поселиться в какой-то другой стране. Тогда как диссиденты хотели бы в той или иной степени изменить положение, сложившееся в Советском Союзе. Они хотят больше свободы — по крайней мере, в одной, а то и

в нескольких областях жизни. Они добиваются либо религиозной свободы, либо свободы культуры, либо политических свобод, либо свободы профсоюзов, либо — если говорить о правозащитниках, — они хотят обеспечить советскому народу все эти права и свободы вместе.

Среди эмигрантов были и есть, конечно, люди, которые симпатизировали тем или иным группам диссидентов и даже принадлежали к ним. Кроме того, самих диссидентов КГБ иногда вынуждает эмигрировать, угрожая им, в противном случае, арестом. Но в ряде случаев мы должны рассматривать эмиграцию как меру наказания, как изгнание.

Правда, когда кто-то заявляет о своем желании эмигрировать, — с точки зрения властей, это тоже проявление инакомыслия. Поэтому репрессии применяются и к тем и к другим.

В о п р о с . Движение инакомыслящих в Советском Союзе продолжается уже около двадцати лет. Была ли политика советского руководства по отношению к диссидентам одной и той же или менялась?

О т в е т . Конечно, политика властей со временем, когда инакомыслящие начали открыто выступать, явно изменилась. В некоторых пунктах изменились даже законы, что, впрочем, не столь уж важно. Гораздо важнее общая тенденция этих перемен: они направлены на усиление репрессивности советского режима. Например, была введена строгая регламентация для пользования множительными аппаратами, более жестким стал лагерный режим для политических заключенных. В 66-м году была введена статья 190, пункт первый "Уголовного кодекса", которая расширила возможности для уголовного преследования инакомыслящих. Однако, повторяю, гораздо важнее общая тенденция и в ее рамках — происходящие время от времени перемены в политике и по отношению к инакомыслящим, и по отношению к эмиграции. Например, до 71-го года эмиграции из Советского Союза практически не существовало, а попытки эмигрировать пресекались самым решительным образом. Но в 71-м году ворота в значительной степени были открыты. Число покидающих Советский Союз быстро возросло приблизительно до тридцати пяти тысяч в год. Затем эта цифра то падала, то увеличивалась снова. В

79-м году число покинувших Советский Союз достигло пятидесяти одной тысячи. А затем эмиграция была решительно сокращена и сведена практически к тому же состоянию, в каком находилась до 71-го года.

Теперь эмигрирует из Советского Союза, в среднем, до тысячи человек в год. Все эти скачки происходили, конечно, не без причин, и я сейчас работаю над тем, чтобы попытаться эти причины выяснить.

В о п р о с . Не могли бы вы все же рассказать об этом немного подробнее?

О т в е т . В 72-м году действовало несколько факторов. Одним из них было движение евреев за эмиграцию в Израиль, которое становилось все более воинственным. Требуя права на выезд, евреи создавали все больше независимых групп, распространяли все больше самиздатовской литературы. Еврейские активисты установили тесные связи с внешним миром. Наладились прочные контакты с иностранными журналистами в Москве. Наконец, дело дошло до попытки угнать самолет, что, с точки зрения советского режима, представляло большую опасность. Группа, которая планировала угон самолета, была схвачена. Состоялся суд. Двое из обвиняемых были приговорены к смертной казни. Но этот приговор вызвал такой взрыв возмущения в мире, что власти не решились привести его в исполнение.

В то же время они могли убедиться, насколько велико сочувствие мира движению советских евреев. В поддержку этого движения высказались даже некоторые коммунистические партии — например, итальянские коммунисты. Властям пришлось пойти на уступки.

Ситуация выглядела для них неблагоприятной еще и потому, что как раз в это время начала проводиться политика мирного сосуществования — прежде всего в отношениях с Соединенными Штатами. А в США существует очень влиятельная еврейская община — самая влиятельная в мире, если не считать самого Израиля.

Правительству Соединенных Штатов не удалось бы начать политику мирного сосуществования, если бы тысячи евреев,

которые стремились эмигрировать, распространял и самиздат писали заявления, устраивали демонстрации, высылались в концентрационные лагеря. В этих условиях власти предпочли разрешить эмиграцию евреев.

Другим фактором стала так называемая "поправка Джексона-Ваника", которая приблизительно в то же время была принята американским конгрессом. Эта поправка установила прямую зависимость между свободой эмиграции и развитием советско-американских торговых отношений. Вокруг оценки этого законодательного акта все еще ведутся споры. Мне лично кажется, что роль его была положительной. Советское правительство не без колебаний, конечно, все-таки примирилось с "поправкой Джексона-Ваника". Число эмигрантов-евреев временно сократилось, но затем начало расти снова.

Однако к концу 70-х годов действия Советского Союза в Африке и особенно вторжение в Афганистан повлекли за собой серьезное охлаждение в его отношениях с Западом. Политика мирного сосуществования была фактически сорвана. Для властей СССР уже не было смысла разрешать эмиграцию, которая всегда противоречила их идеологии, а также проявлять сдержанность в репрессиях против инакомыслящих. Вторжение в Афганистан вызвало бурю негодования в большинстве современных государств. Последовали разные формы бойкота. Советскому правительству уже нечего было терять, и эту новую ситуацию КГБ решил использовать, чтобы окончательно разделаться с инакомыслящими.

В о п р о с . Итак, усиление репрессий по всему фронту. Какими конкретными данными вы могли бы это подтвердить?

О т в е т . Число арестов инакомыслящих, а также тех, кто добивался права на эмиграцию после получения отказа в выездной визе, в 79-м и 80-м годах резко увеличилось и оставалось на том же уровне до 83-го года, когда оно несколько уменьшилось. С 80-го по 82-й год было арестовано соответственно 268, 205 и 241 человек.

Для сравнения отметим, что в разгар политики мирного сосуществования — с 75-го по 78-й год — среднее число ежегодных арестов составляло 87 человек. Таким образом, репрес-

сии увеличились втрое. Арестам подвергались ведущие представители всех направлений инакомыслия. А когда "выбывших" кто-либо заменял, то и их почти немедленно подвергали аресту.

Теперь, в отличие от прошлых лет, почти не брали в расчет социальное положение или международный престиж того или иного диссидента. В январе 80-го года, например, был сослан в Горький Андрей Сахаров. Власти, не задумываясь, пошли на международный скандал. Ведь ссылка Сахарова была произведена в административном порядке, без малейшей попытки соблюсти хотя бы видимость законности. Единственной уступкой международному общественному мнению было то, что Сахарова сослали, а не приговорили, скажем, на 12 лет лагерей и ссылки. Но в 84-м году и эта уступка была ликвидирована, когда Сахарова арестовали и лишили контактов с внешним миром, в то время как прокуратура возбудила судебное преследование против его жены.

Аресты представителей всех групп инакомыслящих продолжались до тех пор, пока они либо прекращали свою деятельность, либо замолкали. Период времени, который для этого требовался, зависел от того, насколько широка была социальная база той или иной группы, насколько она пользовалась международной поддержкой и насколько решительны были ее представители.

Что же касается обращения властей с арестованными, то после 79-го года сроки судебных приговоров резко увеличились, и те, кто отказывались прекратить диссидентскую деятельность, под разными предлогами задерживались в тюрьмах и лагерях даже после того как отбывали срок заключения.

В сентябре 1983 года в "Уголовный кодекс РСФСР" была введена новая статья 188 (п.3), которая облегчала возможность властям задерживать диссидентов в лагерях практически бессрочно. Отныне разрешалось продлевать срок наказания за так называемые "нарушения установленного режима". Огромному риску подвергали себя прежде всего те политические заключенные, которые решались передавать информацию о событиях в лагерях на волю.

1983 год был также свидетелем первых применений физических пыток к достаточно хорошо известным диссидентам (до сих пор они применялись лишь в отношении тех, кто жил в провинции, был малоизвестен на Западе, да и то достаточно редко).

КГБ ставил своей целью добиться от ведущих представителей инакомыслия "публичных признаний" в том, что будто они поддерживают тесные контакты с ЦРУ. Этого, правда, не удалось добиться, но все же несколько насильственно вырванных признаний за последние годы имело место. Власти решили показать, что они не остановятся ни перед чем для того, чтобы раздавить инакомыслие.

В о п р о с . Как можно расценить отмеченное вами усиление репрессий с точки зрения принципов прав человека?

О т в е т . Это — целенаправленное наступление на свободу ассоциаций, на право граждан организовываться в группы, а также на право самовыражения и распространения печатных материалов. Очевидна попытка лишить советских людей права на эмиграцию.

Другая область, где усилились репрессии, это — свобода коммуникаций. Власти делают все, чтобы разорвать коммуникации и связи во многих сферах. Например, внутри Советского Союза — между заключенными в лагерях и психиатрических больницах и их друзьями и родственниками, связи между теми диссидентами, которые остаются еще на свободе, и иностранцами, — например, с иностранными дипломатами, учеными, бизнесменами, туристами. Урезаны также контакты советских граждан с заграницей, осуществляемые с помощью телефона или по почте. Последнее само по себе можно рассматривать как грубое нарушение тайны переписки, которая формально гарантируется законом. Например, когда телефоны используются для того, чтобы передать информацию об арестах диссидентов или о том, как обращаются с ними в тюрьмах и лагерях, телефонная связь попросту прерывается. Так что режим и не пытается скрыть, что телефонные разговоры прослушиваются.

Выросли сроки наказаний для инакомыслящих. Теперь их

часто приговаривают к десяти, двенадцати и пятнадцати годам. Увеличилось число избиений диссидентов на улицах, явно подстроенных "несчастных случаев", когда люди получают увечья или даже гибнут в автокатастрофах. Такие случаи не расследуются, как полагалось бы, милицией или прокуратурой. Так что диссиденты оказываются фактически беззащитными перед самыми грубыми проявлениями произвола.

В о п р о с . А какую роль в усилении репрессий играет инициатива КГБ?

О т в е т . Да, это очень интересный вопрос: в какой мере КГБ оказался способным убедить Политбюро и Секретариат Центрального Комитета модифицировать, изменить политику? То есть, какова роль, собственно, КГБ в изменении этой политики?

Точного ответа на этот вопрос я, собственно, так и не нашел. Есть, однако, признаки того, что престиж КГБ начал возрастать, начиная с 78-го года. В августе 1979 года, например, Андропов, который тогда оставался еще шефом КГБ, был награжден орденом Октябрьской Революции. Заметим, что прежде не было случаев, когда этим орденом награждался кто бы то ни было в связи с 65-летием. В СССР, как мы знаем, к государственным наградам относятся весьма торжественно и серьезно. Так что этот прецедент едва ли случаен. Особенно если вспомнить, как превозносил Брежнев Андропова, вручая ему эту награду.

Позднее, на XXVI съезде, в феврале-марте 81-го года, повторилось то же самое: Брежнев гораздо больше восхвалял КГБ, чем это было принято прежде.

На том же съезде число представителей КГБ в Центральном Комитете было увеличено с одного до четырех. Усиление влияния тайной полиции в центральных органах партии, включая и Политбюро наблюдалось и на XXVII съезде. Каковы были мотивы Брежнева — сказать, конечно, трудно. Тут можно только гадать. Вполне вероятно, что престарелый генсек, здоровье которого быстро ухудшалось, боялся Андропова. Сближаясь с КГБ, он хотел повысить свой авторитет среди правящей верхушки, рассчитывая, что усиление репрессий против

инакомыслящих и эмиграции вызовет у нее одобрение.

В возвышении КГБ с конца 70-х годов сыграла свою роль и кампания по борьбе с коррупцией. Одной из первых ее жертв оказался такой близкий Брежневу человек, как Щелочков. Брежневу, вероятно, пришлось тогда защищаться, поэтому он торопился с выдвижением своего протеже Черненко.

Можно лишь сожалеть, что кампания против коррупции, которая играет сейчас исключительно важную роль в советской политической жизни, до сих пор не привлекла к себе достаточно внимания западных наблюдателей.

Пока что мы можем лишь догадываться о том, что происходит в среде советской элиты. Отвечая на ваш вопрос, я бы только отметил, что КГБ оказался единственной правящей организацией, которая не была задета разоблачениями коррупции.

Говоря о роли советской тайной полиции, возможно, следует обратить внимание и на такой сравнительно частный факт: Бобков, который возглавлял Пятый отдел Комитета Госбезопасности (в функции которого входит борьба с инакомыслящими), еще до февраля 83-го года был повышен в ранге и занял пост заместителя Председателя КГБ.

Но в целом следует, очевидно, считать, что инициатива усиления репрессий, направленных против инакомыслящих, принадлежит прежде всего руководству партии, а не КГБ.

В о п р о с . Какова сейчас реакция западного общественного мнения на политику советских властей в отношении диссидентского движения?

О т в е т . В принципе Запад сохраняет те же позиции, которые он занимал в прошлом, примерно на протяжении пятнадцати лет. Он продолжает решительно критиковать Советский Союз за все нарушения прав человека: права на самовыражение, на ассоциации, на эмиграцию и так далее.

Запад по-прежнему проявляет особую озабоченность судьбой инакомыслящих — прежде всего, академика Сахарова. Поддержка, которая была оказана мировым общественным мнением Анатолию Щаранскому, привела в конце концов к тому, что его освободили и позволили покинуть страну.

Заметим, что каждый раз, когда Советский Союз идет на такого рода уступки, он что-то получает взамен. Так что, если в конце концов советское правительство освободит А.Д.Сахарова из горьковской ссылки (на что я продолжаю надеяться), — это тоже пойдет на пользу международному положению Советского Союза.

Вместе с тем следует признать, что инакомыслие в СССР вызывает сейчас меньше интереса на Западе, чем прежде. Теперь, когда поступают, скажем, известия о том или ином аресте, они часто приходят с опозданием, а западные средства массовой информации не любят публиковать позавчерашние новости. Усиление репрессий, конечно, сделало свое дело. Открытые выступления инакомыслящих случаются гораздо реже.

Однако все это не означает, что отношение свободного мира к этой проблеме изменилось в принципе. Правительства Запада, как и ряд гуманитарных организаций, отнюдь не ослабили своих усилий. Назову хотя бы деятельность "Международной амнистии", "Международной лиги прав человека". Они с той же энергией собирают материалы о преследованиях в СССР и нередко добиваются результатов.

По-прежнему остро ставится вопрос о праве на эмиграцию советских граждан — не только евреев, но также немцев, армян, русских, украинцев, литовцев. Так что правозащитная деятельность продолжается.

Диссиденты в Советском Союзе отнюдь не забыты международным общественным мнением. И в этом большая заслуга тех, кто наперекор репрессиям героически продолжает собирать и передавать информацию о нарушениях прав человека в СССР. Сеть такой информации продолжает действовать вопреки усилиям КГБ. К этому надо прибавить, что поддержку инакомыслящим оказывают и различные национальные и религиозные группы, которые выступают в защиту своих преследуемых соплеменников или единоверцев.

В о п р о с . Если учесть все то, что вы рассказали: усиление репрессий, ограничение коммуникаций с Западом, — как вы оцениваете будущее инакомыслия в Советском Союзе? И что в этом смысле можно ждать от Запада?

О т в е т . Позиция американского правительства тут достаточно тверда: не может быть никакого общего улучшения отношений с СССР, пока он не пойдет на уступки в вопросах прав человека и эмиграции. Американская администрация настаивает на прямой взаимозависимости этих вопросов. Думаю, что любой президент Соединенных Штатов, который займет этот пост в будущем, будет поступать сходным образом, — ведь это соответствует общественному мнению большинства граждан этой страны. Западно-европейские правительства стоят приблизительно на тех же позициях, хотя и действуют иногда менее решительно.

Это внешнеполитическое давление в конце концов может принести плоды: преследования инакомыслящих перестанут быть столь жестокими, как это наблюдается сейчас.

Для движения за эмиграцию, по-моему, перспективы более обнадеживающие. Политически советскому режиму легче позволить определенным группам покинуть Советский Союз, чем допустить большую свободу внутри страны.

С другой стороны, я не думаю, что и сами инакомыслящие будут разгромлены полностью.

Отсутствие свободы в области культуры, религии, политики, прав человека будет и впредь порождать нравственное сопротивление. Где нет свободы, там есть инакомыслие.

Что касается форм этой борьбы, то, разумеется, предсказать тут что-то конкретное трудно. Не исключено, что, если советский режим будет таким же репрессивным, то по прошествии известного времени возникнут крайние течения, ориентированные на конспирацию и насилие. Подобные тенденции при сходных обстоятельствах мы наблюдаем во многих странах мира. Да и вспомним опыт самой России в XIX веке — развитие от "хождения в народ" к терроризму "Народной воли". Это было бы ужасно, если бы что-то подобное случилось в Советском Союзе сейчас или в ближайшем будущем. Но как ученый, как историк я не могу себе позволить исключить и такую возможность.

Если бы появился советский лидер, который действительно захотел бы прийти к согласию с советским народом, укре-

пить действительное, а не словесное доверие между правительством и гражданами, — такой лидер, несомненно, облегчил бы участь инакомыслящих и допустил бы большую степень свободы для народа. Он даже, вероятно, обратился бы к диссидентам за поддержкой, поскольку они составляют активную и искренне озабоченную делами страны часть общества. Но это, к сожалению, слишком оптимистическая гипотеза.

Некоторые наблюдатели возлагают надежды на Горбачева. Мне не кажется, что он — лидер такого типа.

Итак, подводя итог, я бы сказал, что инакомыслие как явление сохранится в Советском Союзе, но формы, в которых оно будет заявлять о себе в будущем, предусмотреть очень трудно. Можно только сказать, что покуда советское правительство будет продолжать репрессии против диссидентов, ему не удастся их утаить от мира, и мир не останется равнодушен к борцам за свободу.



О ЦЕНЗУРЕ, "КЛУБЕ 12-ти СТУЛЬЕВ" И МНОГОМ ДРУГОМ

Предлагаем вниманию читателей очередное интервью профессора Мэрилендского университета Джона Глэда из его цикла "Беседы в изгнании: мозаика русской эмигрантской литературы". На этот раз Джон Глэд беседует с бывшим заведующим "Клубом 12-ти стульев" "Литературной Газеты", писателем Ильей Сусловым.

Д.Г. Илья, какую роль сыграл в русской литературе журнал "Юность", когда его редактировал Полевой?

И.С. Когда его редактировал Полевой, он продолжал играть очень интересную роль, но прежде всего надо сказать о том периоде, когда он появился. Полевой пришел через три года после организации журнала.

Д.Г. Первым редактором был Катаев?

И.С. Да. Этот журнал был создан Катаевым, но я при Катаеве не работал, а пришел в "Юность" в один день с Полевым.

Думаю, что журнал "Юность" был в свое время одним из самых либеральных — в советском понимании этого слова — журналов и вырастил целую плеяду замечательных писателей-прозаиков и критиков, которые сейчас уже состарились и к "Юности" никак не относятся. Там печатались Василий Аксенов, Анатолий Гладилин, Булат Окуджава, Евгений Евтушенко, Бэлла Ахмадулина, Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский, Олег Чухонцев, Станислав Рассадин — замечательный критик, Станислав Лесневский, да нет им числа. Это бы-

ли почти все ровесники, люди 56-го года, которые "выплеснулись" на гребне XX-XXII съездов партии, после того как Хрущев погубил репутацию Сталина в народных глазах, и когда мы полагали, что вот-вот начнется то, что недавно происходило в Польше или когда-то происходило в Чехословакии.

Журнал начинался со ста тысяч экземпляров. Он не был изданием ЦК комсомола, как все остальные молодежные, юношеские журналы, а был органом Союза писателей СССР, что давало возможность говорить о качестве. Не только об идеях, идеологии, воспитании, но и о качестве прозы, поэзии и критики. Под этим знаком качества выросли все эти замечательные писатели, и я был счастлив быть знакомым с каждым из них.

При Полевом эту репутацию "Юности" пытались поддерживать, но было уже сложнее, потому что времена изменились. Полевой как верный чиновник ЦК партии, которого назначили редактировать журнал, постепенно превратил "Юность" — к тому времени он стал трехмиллионным — в обычный серый журнальчик, каких сейчас в Советском Союзе очень много. Ничего свежего, никаких имен там уже не было, потому что прошло время. После того взлета, о котором я говорил, там в сущности никого не появилось.

Д.Г. Давай перейдем к "Литературной Газете". Газету одно время называли "Гайд-парком при социализме". Теперь она изменилась довольно круто.

И.С. Да, "Гайд-парк при социализме" — это название упомянуто в книжке Виктора Перельмана. Он так и назвал одну из глав своей книжки, по-моему, когда описывал нравы нашей газеты. Мы работали с ним там в одно время.

Старая "Литературная Газета" была маленькой, четырех, а иногда шестистраничной узкой газетой. Ее редактировали Константин Симонов, Ермилов, Кочетов, Косолапов, Смирнов Сергей Сергеевич... Но партии нужна была другая газета, рассчитанная на всю интеллигенцию.

Немного изменились методы агитации и пропаганды в Советском Союзе после Хрущева. И полагали, что надо тоньше обрабатывать интеллигенцию — дать ей возможность почувствовать, что кое-что позволено. Позволено говорить о ка-

ких-то проблемах, позволено спорить о каких-то вещах. И писатели, журналисты, захваченные этой тенденцией, старались писать правду.

Другое дело, что, цензуру, конечно, никто не отменял, и она работала всюду. Цензура — это не просто Главлит*, как это думают, — это девять инстанций, поставленные друг над другом, которые читают предложенное автором, и наутро он обычно не узнавал своего материала, а наоборот, читал что-то противоположное тому, что он задумал. Тем не менее, для того чтобы привлечь многочисленную читательскую общественность, была придумана газета, орган Союза писателей, в которой можно было более или менее свободно рассказывать о внутренней жизни, держа очень жесткий курс международный. В "Литературке" партия хотела сказать то, что нельзя было сказать в правительственной газете "Известия" или в партийной газете "Правда". Таким образом она искала менее лобовых способов общения с Западом.

А под это дело нам, редакторам 16-ой страницы "Литературной Газеты", давали возможность печатать вещи, которые, прямо скажем, были абсолютно беспрецедентны при советской власти. И мы уже резвились всюду.

Мы сразу отказались от старых писателей-сатириков, которые подорвали свою репутацию еще при Сталине. Нам сказали, что таких сатириков газете больше не надо, а найти надо молодых талантливых людей, которые, может быть, и не профессиональные литераторы, а работают где-то инженерами, врачами, кем угодно, но обладают талантом. И вот эти люди составили основу "Клуба 12-ти стульев". И у нас была не только многомиллионная читательская, но и многотысячная писательская аудитория. На нас работала вся страна. А когда работает на тебя вся страна, то есть что выбрать.

До 68-го года, до вторжения в Чехословакию, это была беспрецедентно смелая полоса. Мы говорили почти все, что хотели. Конечно, нельзя было крикнуть: "Долой эту поганую власть!" Да это и не нужно. Что это за методы литературы? Литература не должна кричать "Долой!" Литература должна

*По сведениям, доходящим из СССР сейчас функции политической цензуры у Главлита изъяты, но сама цензура, разумеется, сохранилась.

показывать и высмеивать. И получалось очень лихо, потому что газету нашу читали по-еврейски, справа налево: сначала 16-ю страницу, а потом уже переходили к остальному.

Д.Г. Какой тогда был тираж?

И.С. С тиражом было тоже очень интересно. Тираж старой "Литературной Газеты" в 66-м году не достигал и 300 тысяч. Когда я уезжал, в 74-м году, тираж превысил три миллиона. В десять раз поднялся тираж и объем был увеличен с 4-х страниц до 16-ти. Причем надо учесть, что это без всякой рекламы, без всяких объявлений, это чистые 16 страниц текста. Конечно, разного качества, потому что газета делилась на две половины. Первую читатель сразу отбрасывал, потому что читать там было нечего, там был "литературный процесс", а читать о том, чего нету — не интересно.

А во второй половине уже были очень жесткие и очень злобные международные материалы, антиамериканские, конечно, антиизраильские, антикитайские и какие угодно. И еще были внутренние разделы, которые делались очень талантливо и очень интересно... поначалу.

Позже, газета, конечно, изменилась, как изменилась вся советская жизнь. Жизнь стала совершенно уже серой и отчасти черной. Это стала совсем другая газета, хотя делалась почти теми же людьми. Надо только сказать, что примерно 10 процентов сотрудников нашей газеты эмигрировали.

Д.Г. Сколько?

И.С. Десять процентов. Так мы подсчитали. Ну, это не большой процент. Дело в том, что если из газеты эмигрирует сто процентов, она все равно будет выходить — таков закон газеты.

Д.Г. А какую роль сыграл в этом Александр Чаковский?

И.С. Чаковский играл роль редактора. Чаковский всегда играет роль редактора.

Д.Г. Он поощрял все это или смотрел сквозь пальцы?

И.С. Дело в том, что Чаковский появился в газете как редактор лишь примерно через восемь месяцев после реорганизации. Он все дела порекомендовал своему заместителю, который и полагал, что он редактор. Он набрал очень либеральный

штат. Это был Виталий Сырокомский. Его недавно тоже сняли. Он провинился в чем-то и беднягу перекинули в издательство "Прогресс" заместителем директора. Что он там наделал, просто трудно сказать — никто еще не приехал, не рассказывал.

А Чаковский сидел и внимательно смотрел, как развиваются события. Мы в это время придумывали планы, придумывали рубрики и темы, забирали места в газете — старались сделать настоящую, интересную газету.

Сырокомский играл роль американского менеджера. Он организовал такой "мозговой штаб" вокруг себя и требовал, чтобы "подбрасывали" темы. А темы "подбрасывали" очень интересные — любые! Например: один день в жизни Генерального Секретаря КПСС. Как просыпается вождь, как он завтракает дома, о чем говорит с женой, как едет на работу, как к нему приходят люди — он же решает, наверно, какие-то дела; о чем и как говорит, как заканчивает свой день, как он едет домой. И, конечно, всем интересно знать, кто же эти люди, которые нами руководят. Кто они такие. Мы послали эту тему и получили ответ. Он был очень прост — от начальника какого-то управления, ведающего личной жизнью вождей: "Сошли с ума!" И все.

Д.Г. Как складывались твои отношения с писателями, учитывая то, что ты был редактором? И вообще, каково быть редактором в советском периодическом издании?

И.С. Это сложный вопрос. Существует несколько типов редакторов. Я был очень жесткий, вероятно, редактор. Диктаторского плана, деспотического плана редактор. Почему? Я знал, что ничего написать в Советском Союзе не смогу и напечатать не смогу. Есть люди, которые умеют писать при советской власти. Я им всегда завидовал. Они умели писать так, чтобы что-то сказать и чтобы это еще и прошло в печать, несмотря на всю ужасную тяжесть цензуры. Я завидовал всегда и Аксенову, и Балтеру, и Окуджаве, и Горину, и Арканову — они умели сказать почти все в этих условиях.

Я же более простой, более прямой, более язвительный, может быть, не умел закрывать это эзоповым языком, что видно

из моих произведений, написанных здесь, да и там, впрочем. Я написал там мою первую книгу "Прошлогодний снег". Она была написана в России. И, конечно, никуда не прошла. Я использовал псевдоним, скрылся, не написал своего адреса. Она получила фантастические внутренние рецензии от таких людей, как Анатолий Кузнецов, Борис Балтер, Виктор Розов, Борис Слуцкий, и многих других писателей. Они хотели, чтобы это прошло. И, конечно, цензура это зарубила. Точнее, зарубала на каждом этапе.

Я отнес рукопись в "Юность", где я тогда работал. А когда Полевой узнал, что это написал я, он меня вызвал и сказал: "За что вы нас так, Илья? За что вы нас так не любите?" Я ему ответил: "А за что нам вас любить, Борис Николаевич?" И я упал в его лице... Я увидел, что он испугался меня, и понял, что это очень страшно. Я считал, что писал ее с внутренним редактором тогда. И я считал, что это проходимо. После Солженицына, после...

Д.Г. Книга была не такая, как сейчас?

И.С. Нет. Я дописал несколько глав здесь, которые там уже дописать было невозможно. Просто дописал. Но ничего не изменил из того, что было написано. Я считал, что, если книга написана тогда, — вот такой она и должна быть, хотя я могу ее сегодня сделать поострее, получше технически — я стал более опытным, если угодно.

Я писал очень много и никогда не подписывался. Псевдонимы какие-то дурацкие: Евгений Сазонов, Марк Ильин, администрация "Клуба 12-ти стульев"... Никто не знал, кто это и что это.

Д.Г. Евгений Сазонов — это был ты, но и другие тоже.

И.С. Конечно... Это был коллективный псевдоним. И я писал множество вещей, особенно в первые годы, под псевдонимом. Я хотел, чтобы 16-я страница говорила только одним голосом — моим. Я придумал специфический язык. Все авторы говорили почти одинаково. Это были разные формы, но вот был напор по мысли, по хулиганству какому-то внутреннему... Они говорили все так, как говорил бы я. Поэтому авторы для меня были материалом. Это ужасно. Теперь бы я себя уже так не вел. Теперь бы я выявлял индивидуальности.

Я знаю, что многому научил наших авторов, очень талантливых. Особенно молодых. Я знал, какое слово выбросить, а какое поставить, как сделать эту шутку такой, чтобы она "прошла". И они мне верили. Вот это очень важно! Потому что есть редакторы, которым не верят, потому что они цензоры. А я никогда не был цензором. Я был редактором.

Но есть разные уровни цензуры и разная степень страха у цензора. Он чувствует, что в тексте ничего нет, но есть подтекст. Ну, например, идет рассказ о ненависти к евреям. Нельзя же такой рассказ напечатать в Советском Союзе. Вместо слова "еврей" ставится слово "бухгалтер". Человек говорит: "Ну, ненавижу этих бухгалтеров. Они... они какие-то все маленькие, у них какие-то носы, знаешь. У них руки такие загрubby, у бухгалтеров". И идет рассказ о бухгалтерях.

Д.Г. А читатель понимает?

И.С. Читатель понимает все блестяще, читатель только и ждал этого. Для него это была роза в стакане, когда ему подносили такие эзоповы шутики. Скажем, афоризм типа: "Стояла тихая варфоломеевская ночь". Что? О чем? Куда? Но все же читатель понимает, о чем идет речь. Это советская власть стояла тихая, но в то же время варфоломеевская. Или на память приходит что-то вроде: "Если нельзя, но очень хочется — то можно". Вот видишь, ты улыбнулся. Вот так улыбались все наши миллионы. Вот это сюда, к сердцу идет. Особенно в России, изголодавшийся по слову. Редакторы тоже люди. Цензоры — люди, чаще плохие. Но в сущности все одинаковые люди. Просто он знает, что, если он пропустит это, ему может быть большой нагоняй. Мы договорились, что, если один начальник не пропустил, я имею право показать другому. И так... до шести раз! Было такое условие. Я говорил: "Вы хотите, чтобы нас читали? Так вот надо, чтобы этот материал прошел, он должен пройти. Тогда нас будут читать". И после шестикратного штурма пробивал этот материал. Если он не проходил шесть раз, я его клал в папку "Нет". Если рассказать о цепочке прохождения материалов в советской печати, у тебя волосы встанут дыбом.

Д.Г. Коротко. Это было бы хорошо...

И.С. Коротко? Вот тебе маленькая цепь: автор — литературный сотрудник — редактор, ведущий этот материал, — заведующий отделом — заместитель ответственного секретаря — член редколлегии, читающий материал, — заместитель главного редактора, читающий материал, — ответственный секретарь — главный редактор, Это восемь ступеней, не считая самой цензуры. Все эти люди читают один и тот же материал сначала до конца, и если кто-то из них что-то видит, он ставит птичку. И то место, где эта птичка, вычеркивается. Поэтому можно представить, каким материал выходит — в отличие от того, что сделал автор. И вот через все эти штуки надо проходить каждый день, каждую неделю, каждый год — всю жизнь!

Д. Г. Но если материал не проходил через эту первую ступень, можно было пропустить через другого цензора?

И.С. Да. Я пускаю через другого цензора, и в конце концов это идет по той же цепочке, но главный же — первый цензор. С теми уже можно говорить: "Вы ж видите, Василий Васильевич пропустил, что же вы не такой смелый, как Василий Васильевич? Да здесь ничего и не видно, ничего тут и нет..." И начинаешь играть в Швейка. Они — капралы, которые на тебя орут, а ты — Швейк. Говоришь: "Где? Где вы здесь это видите? А? Чего вы?" В тексте действительно ничего не было. Литература уходила в подтекст.

Д.Г. Советский цензор Юрий Лаптев в закрытой рецензии пишет следующее о твоей повести "Прошлогодний снег":

"Все это заимствовано не только с чужого, но и (подчеркнуто) недружелюбного голоса. Перечеркивать походя ту основную тенденцию, которая пронизывает десятки произведений писателей, огульно зачисляемых автором "Прошлогоднего снега" в ранг бездарных — это просто-напросто недобросовестно. Он прибегает к методу явного окарикатуривания. Это не сатирическое произведение, а обыкновенный пасквиль."

Что это за "чужой голос"?

И.С. Это очень интересное выражение. Дело в том, что здесь мой герой, лирический герой Толя Шифрин, пишет о том, что он в своей жизни видел много разных писателей: бездарных и талантливых. Бездарные были мускулисты и энергичны.

Они набрасывались на талантливых, приклеивали им ярлыки и "измы" и терзали их. Талантливые молчали. Наконец они не выдерживали и начинали писать под бездарных. Тогда бездарные говорили: "Ведь может же, когда хочет. Ведь может же, сукин сын!"

Лаптев отлично понимает, что именно так складывался литературный процесс в России: бездарные всегда уничтожали талантливых. Да не просто уничтожали нравственно, они их физически уничтожали, потому что русская литература — это история убийств талантливых людей, начиная от Пушкина. И, конечно, он это видел, хотя этого и нельзя говорить вслух. Социалистический реализм не разрешает говорить такие вещи. Но все это шито белыми нитками...

Д.Г. Он повторяет это несколько раз.

И.С. Да, потому что он выбирает ту фразеологию, которую знает. Фразой "с чужого голоса" он хочет сказать, что буржуазная пропаганда заморочила голову некоторым интеллигентам и внушила им, как плохо живет, скажем, Советский Союз. Как и что там происходит. И мы пишем так называемую правду, повторяя ложь зарубежных радиоголосов или зарубежной пропаганды. Опять же, это очень недобросовестный и очень "милый" прием, но что ожидать от советской цензуры! Лаптев был главным цензором издательства "Советский Писатель". Ты видел, как он все время "отдает должное". Потому что он не знает, боится, что будет завтра. Может быть, завтра состоится, не дай Бог, какой-нибудь XXX съезд партии, на котором все будет перевернуто. И тогда он скажет: "Слушайте, наоборот, я же говорил хорошие слова". Он сделал уравновешенную, сбалансированную, как говорят в Советском Союзе, рецензию.

Д.Г. А ты его знал лично?

И.С. Конечно.

Д.Г. А что он представляет собой?

И.С. Ничего.

Д.Г. Ну, когда разговариваешь с ним. Он интересный человек?

И.С. Нет, он совершенно неинтересный человек. Это люди без глаз. Он пишет нечестные рецензии и знает это.

Д.Г. Сколько ему лет?

И.С. Много. Старый сталинский сокол.

Д.Г. Как давно он этим занимается?

И.С. Всю жизнь.

Д.Г. Ну, всю ли?

И.С. Он написал даже какую-то книжку. Получил Сталинскую премию. О Лизе Чайкиной, кажется. Была такая героиня. Она выстрелила во внешнего врага и убила его из ружья.

Д.Г. У тебя есть какие-нибудь сведения о том, как оплачивается труд литературных цензоров?

И.С. Нормально. Это заработная плата, не очень большая — 200-250 рублей. Нормальная работа и нормальная зарплата. Ничего тут не поделаешь. Официально он считается консультантом издательства.

Д.Г. Да, у Шаламова есть рассказ об этом... Ну, а ты согласен с ним, что есть элемент карикатуры?

И.С. Нет, нет. Я не карикатурист, я — реалист. Я жестокий реалист.

Д.Г. Социалистический реализм?

И.С. Может быть, критический реализм. Если бы я остался социалистическим, ты бы сегодня брал интервью у кого-нибудь еще. Я не остался.

Д.Г. В этой повести у тебя большую роль играет еврейская тема. Ты очень большое значение придаешь этому?

И.С. Угу.

Д.Г. Один мой знакомый писатель, который эмигрировал в Америку, мне сказал, что он переживает кризис личности. "Я, — говорит, не русский, я и не еврей: что я знаю о еврействе? Я и не американец. Я человек без родины".

И.С. Мне его жалко.

Д.Г. И вот я, читая твою повесть, подумал: "Илья Суслов — продукт советского общества и русской культуры, о еврействе он знает, мне кажется, не больше, чем я, например".

И.С. Больше.

Д.Г. Ну, это посмотрим... Так как же насчет тебя? Ты себя считаешь русским писателем, еврейским писателем, американским писателем или писателем-космополитом? Кем ты себя считаешь?

И.С. Вот я тебе скажу, кем я себя считаю. Я считаю себя еврейским писателем, пишущим по-русски.

Д.Г. А что это значит?

И.С. Это очень просто. Это особый психологический тип, это особое, еврейское, я бы сказал, отношение к действительности. Возьмем, например, Бабеля. Какой он писатель? Русский или какой? Вот я считаю, что такие люди, как Бабель, как Аркадий Львов, который сейчас живет в США, я, может быть, — мы не русские писатели в чистом виде. Я могу быть русским писателем в той части, когда отображаю русскую жизнь. Я подхожу к этому как русский интеллигент. Но когда я выбираю лирического героя — это обычно еврейский интеллигент с его отношением к этой жизни. Евреи — ненавидимая группа в Советском Союзе. И антисемитизм в Советском Союзе напоминает мне... вероятно, он сегодня приблизится к тому, каким он был в Германии в 30-х годах при Гитлере. Очевидно, большинство населения испытывает к евреям то, что испытывают куклуксклановцы или нацисты здесь по отношению к той же группе населения. Я идентифицирую себя с этой группой населения. В этом смысле я, безусловно, еврей. Я, конечно, очень мало знаю о еврейском языке, о еврейской культуре, о еврейской религии. Но я принадлежу к этой группе. Меня назначили евреем в Советском Союзе, выдав мне паспорт, где было написано "еврей" в пятом пункте. Это ведь по крови они определяют, не по религии, а по крови. У тебя папа — еврей, значит ты — еврей. У тебя мама — еврейка, значит ты — еврей. Если ты полукровка или даже четвертинка — ты, все равно, еврей. В университетах сейчас анкеты: национальность отца и национальность матери. Чтобы не пропустить. Я принадлежал к этой группе населения.

Д.Г. Ну, а Мандельштам, Пастернак — они кто, русские писатели?

И.С. Я думаю, что Пастернак — да. А Мандельштам... я не знаю. По крайней мере, это было его дело. Каждый человек выбирает себе место в жизни. Я хотел бы быть еврейским писателем, пишущим на русском языке.

Д.Г. Ну, ты, по-моему, выдумываешь...

И.С. Нет, нет...

Д.Г. Каждому свое.

И.С. Если ты прочитаешь все мои книжки, ты увидишь, что они написаны с еврейским юмором, с еврейской интонацией, с еврейским акцентом, если угодно. И я человек с акцентом. Внутренним, конечно. Ибо я это чувствую.

Д. Г. Допустим.

И.С. Не веришь — не надо.

Д.Г. Хорошо. Как, по-твоему, должна складываться судьба писателей-эмигрантов? Сохранится ли эмигрантская литература? Вот, например, признайся, ты же плохо знаешь литературу довоенного периода, не правда ли?

И.С. Я хорошо знаю.

Д.Г. Эмигрантскую именно.

И.С. А, нет. Сейчас я уже знаю. От второго Мандельштама до Ремизова, до Бунина, до Куприна, до кого хочешь... До... Бердяева, Адамовича, Седых... Я читал, начитался здесь, я тебе серьезно говорю.

Д.Г. Ты здесь начитался?

И.С. Да.

Д.Г. А в Советском Союзе знал?

И.С. В Союзе я знал некоторых, конечно. Но я и печатал многих эмигрантов. Я сам печатал. У меня была специальная рубрика, где я печатал и Аверченко, и Тэффи, и, как его звали, Бухова, и кого угодно. И Сашу Черного. Вся уехавшая саатира попала под нашу реабилитацию. И, конечно, я много читал, потому что я выбирал из них что напечатать. Мне хотелось представить их в самом лучшем виде.

Д.Г. Вообще, узнавать их ты начал только за границей. Так что эстафета передается только за границей.

И.С. Только за границей. Я считаю, что это трагедия, конечно, для писателя. Я раньше думал, что Ленин гуманней Сталина, потому что Сталин убивал людей. Он убивал, а Ленин высылал. И ему казалось, что это довольно достойный прием: не хочешь жить с нами — уезжай! Хотя, конечно, честно, надо поставить вопрос иначе: мы не хотим жить с тобой — ты уезжай! Но, очевидно, это уже не получалось. Диктатура работала во-

всю. И люди уезжали. И для писателей это трагично. Вот, скажем, такие люди, как мы. Мы получили свободу слова по-настоящему, мы выключили внутреннего редактора из своей головы, пишем легко, пишем правду, пишем весело здесь. Но мы потеряли читателя. Приобретая что-то, ты теряешь другое — очень важное. Дальше. В России профессиональный писатель может существовать на литературные заработки...

Д.Г. Здесь нет.

И.С. А здесь нельзя существовать на литературные заработки. Оттого, что нет спроса и нет читателя. Найти себя на рынке Америки — вот мечта каждого из нас, наверно. Но ведь приехало очень много писателей, потому что писатели бегут из России. Они бегут во имя возможности самовыражения. И прибегают в слишком большом числе. И все издательства оказываются забитыми так называемой русской темой. Русской, еврейской, лагерной — какой угодно! То есть, они заполнены темой о чудовищности тоталитаризма, если угодно. И поскольку некоторые из этих книг не получают достаточного распространения, издатели боятся их брать.

Третья проблема, которая очень страшна, — переводческая проблема. Вот, с моей точки зрения (может быть, ты опять скажешь, что я ошибаюсь), русской литературы в Америке нет. Она загублена переводами. Только сейчас появляются более или менее тонкие переводчики, которые следят не только за тем, чтобы передать сюжет. А русская литература не в сюжете, русская литература в прозе, русская поэзия в запахах, в вещах, в идиомах, в сленге, в подтекстах. Ну как перевести Пушкина?! Как перевести Зощенко?! Лескова?! Бабеля?! Их же всех перевели. Я прочитал несколько кусков. Даже сравнил. Может быть, легко переводить Толстого. Нетрудно, наверно, переводить Достоевского, потому что стилистически он очень понятен. Евтушенко переводить, наверно, легко. Вознесенский просто так и просится.

Но а что же делать с современной прозой, поэзией? Если появятся настоящие переводчики — тогда будет спасена целая литература. А сейчас она может погибнуть. Она может остаться в русских маленьких книжонках. Они разойдутся, потом

станут библиографической редкостью, потом все мы поумираем. И когда-нибудь кого-то откроют, как Ремизова или как Бунина,— через сорок лет. После того, как все уже ушло. Если бы можно было найти такие фонды, такие средства для поддержания русских писателей и поэтов, ушедших из России.

Д.Г. Конечно, вопрос популярности за границей тоже связан с темой. Ты не собираешься перейти на американские темы?

И.С. Обязательно. Я уже.

Д.С. Тогда ты будешь еврейским писателем, пишущим на русском языке на американские темы.

И.С. Совершенно верно. Ты будешь смеяться, но это так и будет.

Д.Г. А если уедешь во Францию?

И.С. Все равно, все равно! Я буду писать по-русски с моими еврейскими делами для французских, английских, американских читателей. И, должен сказать, что ты прочтешь это с удовольствием, как любую национальную литературу. Тебя же это не пугает? Вот Чингиз Айтматов, какой писатель? Русский или киргизский? Утверждаю, что это киргизский писатель, пишущий на русском языке.

Д.Г. Ну, он свой язык-то знает.

И.С. А фазиль Искандер — абхазский писатель, пишущий на русском языке. Я — еврейский писатель, пишущий на русском языке. Что вас так пугает это? Мы такие. Мы сложные. Мы не простые.

ПОЗИЦИЯ ИЗДАТЕЛЯ

По страницам журналов "22" и "Синтаксис"

Редко рецензенту выпадает такая удача, когда переключка между двумя журналами превращается в диалог, хоть и не явный, но вполне разборчивый. Так обстоит дело с последними выпусками "22" и "Синтаксиса", ранее не пересекавшимися и вовсе журналами.

Элитарный "Синтаксис", под редакцией М.В.Розановой-Синявской, печатал статьи о литературе и культуре, журнал "22" занимался иерусалимскими размышлениями о суете забот иудейских — под контролем Р.Нудельмана и А. и Н. Воронелей.

Но затем что-то произошло. Злые языки говорят, что "22" лишился субсидии соответствующих органов. Лишился субсидии в зрелом возрасте — это серьезнее, чем лишиться невинности. Тут все решает воля к жизни. Итак, в последней, сорок восьмой книжке журнала "22" был напечатан первый скандальный материал за все годы: письмо Сергея Хмельницкого, содержащее ряд обвинений в адрес Андрея Синявского.

Андрей Синявский, писатель и литературовед, был приговорен к семи годам за печатание своих книг за рубежом в 1966, отсидел "от звонка до звонка" и эмигрировал в Париж, где он быстро стал одной из ведущих фигур либерально-демократического крыла русской эмиграции — в противовес Максимова и Солженицыну, вождям авторитарного крыла.

Первый материал о Синявском появился в 46-м номере журнала "22". Это были воспоминания Воронелей и Азбеля о процессе Даниэля и Синявского. Это интересная публикация, хотя авторы предпочли больше говорить о себе, чем о Даниэле и Синявском. Азбель подсознательно сравнивал себя с Моисеем, Воронели тоже оказались лидерами еврейского движения, хотя на проводах Давида Хавкина, этом "Мэйфлауре" русского сионизма, их не было.

По-разному они оценивают и прошлое. Для Нины Воронель шестидесятые годы — "время необычайного расцвета... сплошной неостанавливающийся восторг, непрерывное кружение... было ощущение, что вот завтра все случится, все!"

Марк Азбель чрезмерно самоуверен, как пародийный физик из книжки тех же 60-х годов: "Я наблюдал весь этот театр, хотя и с любопытством, но без особого доверия".

Вспоминая о Синявском, А.Воронель писал: "В Синявском было нечто от Ставрогина из "Бесов". В нем была ставрогинская ненадежность. Способность играть идеями, которые небезобидны... Своим сионизмом я в какой-то степени обязан ему... Синявский был двойственен. В Синявском жил скрытый игрок, которому нравилось, что он водит за нос советскую власть".

Конечно, кроме этого, в тексте было немало лестных слов о Синявском, но, наверно, именно эту оценку Синявского прочел с вниманием эмигрант в Западной Германии, бывший приятель Синявского и Воронелей, писавший некогда талантливые стихи "под Гумилева" — Сергей Хмельницкий. Он, несомненно, заметил и то, что имя Марии Розановой-Синявской почти не упоминалось (в отличие от Ларисы Богораз-Даниэль), кроме слов Воронеля: "Друзья Ларисы, увлекшись своей общественной ролью, несправедливо и жестоко поступили с Ма-

рьей... подвергли ее незаслуженному остракизму". Так что Хмельницкий мог понять, что с годами черная кошка пробежала — если не меж Синявскими и Воронелями, то наверняка между этими властными и гордыми женщинами, Синявской и Воронель. Вооруженная новым знанием Нина Воронель вспомнила Синявскую как "высокомерную блондинку монашеского типа, неприязненно сверкнувшую на меня выпуклыми линзами очков". Возможно, по всем этим причинам письмо Хмельницкого было послано в "22" и напечатано там.

Хмельницкий послужил прототипом С. в романе Абрама Терца-Синявского "Спокойной ночи", напечатанном несколько лет назад. В полуавтобиографическом романе говорилось, что в 1948 году МГБ завербовало его, чтобы погубить молодую француженку Эллен, но он открылся перед ней, спас ее, провел тонкую игру, одурачил гэбэшников и иуду С. (Хмельницкого), сексота, погубившего двух их однокурсников, представившись его другом.

В письме Хмельницкого, напечатанном в последнем номере журнала "22", предлагается "встречная версия", по которой Синявский "стучал" так же добросовестно, как и Хмельницкий. Письмо Хмельницкого разошлось большим количеством "самиздатских" копий в Париже — благодаря усилиям политических противников Синявского.

Хотя письмо Хмельницкого и производит впечатление на тех, кто не читал романа "Спокойной ночи", при внимательном прочтении замечаешь, что в нем нет новых фактов — лишь своя, пристрастная оценка тех же фактов. Хмельницкому не удалось доказать, что Синявский не обманывал МГБ — он утверждает, что Синявский обманывал его, Хмельницкого, но это уже не ново, да и как не постараться обмануть человека, который заведомо помог погубить двух своих сокурсников (этот факт признает и сам Хмельницкий).

Оценки же Хмельницкого не могут поспорить с фактами — вроде семилетней отсидки Синявского. Хмельницкий пытается оспорить различные эпизоды из романа Синявского, как будто роман — это протокол. Но как сказал Синявский в своем "последнем слове" на процессе, — я цитирую его по "22"

(№ 46): "Я хочу напомнить: художественный образ условен, автор не идентичен герою... к художественной литературе нельзя подходить с юридическими формулировками". А именно это пытается сделать Хмельницкий. Получается странно — как если бы прототип Ноздрева пожаловался бы на Гоголя за искажение истории с породистым щенком.

Некоторые оценки Хмельницкого согласуются и с оценками Воронеля, писавшего, что в Синявском "был авантюризм, литературно-фантастическое стремление превратить жизнь в литературу", "он был игроком... бесом". Поэтому он ввязался, как Руська Доронин из "Круга Первого", в опасную игру с МГБ и с Хмельницким — и выиграл. Конечно, Синявский не был "глыбой и матерым человецищем", но писатели редко бывают такими.

В том же 48-м номере "22" приводятся слова Амоса Оза, одного из наиболее известных израильских писателей, сказанные на неофициальном симпозиуме в Будапеште: "От писателя не приходится ожидать цельности и искренности — английского "интегрита", писатель выступает обвинителем, но он же и свидетель защиты, он в составе жюри присяжных и следователь, он — родственник подсудимого и семья потерпевшего, он — судья и он — организует побег под носом у тюремщика. Как можно ожидать "интегрита" от такой сомнительной личности? Да это прекрасное качество писателям и не нужно. Мы лучше разоблачим фанатическую цельность маньяка, искреннюю одержимость крестоносца. "Интегрита" — это по их части"

Это дает полный ответ на упреки в адрес Синявского — почему он играл в такие игры.

ОПАСНОСТЬ СВОБОДЫ

И ДОХОДНОСТЬ ДИССИДЕНТСТВА

В только что вышедшем "Синтаксисе" (№15) содержатся два материала Синявского — короткий рассказ, подписанный Абрамом Терцем, как и вся проза Синявского, и статья "Диссидентство как личный опыт". В статье Синявский перекликается с Озом, и, если хотите, с Цветаевой:

"Может быть, писателя, в принципе, надо убивать, все люди живут, как люди, а он — пишет. Он вносит беспокойство в общество. Всякая литература — это отступление от правил "хорошего тона", писатель — выродок, отщепенец".

Синявский как бы отвечает в этой статье на вопрос, поставленный в "22", (№ 46), — были ли Синявский и Даниэль диссидентами? В "22" Н.Воронель писала: "Даниэль был бы в первых рядах "диссидентов", а вот Синявский, наверно, избрал бы иной путь". М.Азбель писал: "Цельность... внутреннее давление сделало из Синявского диссидента. Человек, для которого творчество является смыслом жизни, не может не быть диссидентом, ибо такова суть творчества".

Н.Воронель добавила: "В России Синявский был русским националистом, человеком религиозным, он регулярно ходил в церковь. А в Париже увидел, что там все русские — националисты и все в церковь ходят. И тогда он идет наперекор. Он теперь уже не русский националист, а либерал. Он уже со всеми "в церковь не ходит"... Это его главная черта. Все шли в одну сторону — а он взял и пошел в другую!"

Синявский пишет в "Синтаксисе": "Быть диссидентом на Западе (диссидентом по отношению к советской системе) очень легко. Здесь это не борьба, не жертва, а... заработок, выгодное предприятие. У нас, эмигрантов, единства больше чем достаточно, нам необходимо разномыслие. Сам я принадлежу к либерально-демократическому крылу — не потому, что верю в скорую победу свободы и демократии в России, но русскому интеллигенту подобает быть либералом и демократом, а не сторонником нового деспотизма".

Но сохраненное право на инакомыслие дорого обходится и в эмиграции, и в России: "Почему советский суд и антисоветский, эмигрантский суд совпали в обвинениях мне, русскому диссиденту?.. Кому нужна свобода? Свобода — это опасность, безответственность перед авторитарным коллективом... Что ты хотел. Свобода! Писательство — это свобода". Эти слова помогают понять идеологическую подоплеку скандала: слова о доходности диссидентства — это не в бровь, а в глаз некоторым нашим лидерам; право на инакомыслие — это подрыв их прежде всего авторитета, с которого они стригут купоны.

Но рассказ Абрама Терца в том же "Синтаксисе" бросает свет и на человеческую проблему Синявских. Герой рассказа "Гости", писатель Андрей Донатович Синявский, страдает от ходоков, входящих и отвлекающих от работы. Напрасно его жена Марья говорит гостям, что писатель уехал в Италию — они догадываются, что он отсиживается от них в сортире. Конечно, можно посочувствовать писателю, которому не дают работать, и вспоминаются слова Дзержинского из анекдота: "Гоните вы, Владимир Ильич, этих ходоков к такой-то матери". Но тут дело не так просто — А.Д.Синявский занимает определенную общественно-политическую позицию во главе либерального крыла и он не может позволить себе эту роскошь. А если он не может иначе — значит, у либерально-демократического крыла есть проблема и нет вождя.

ИГРА СО ШТАМПАМИ

В пятнадцатом номере "Синтаксиса" содержится раздел об эмиграции и ее судьбах. Борис Шрагин призывает нас спорить, а не стремиться к единодушию. И.Шафир обыгрывает идею главы "Циклоп" из Джойса, напечатанной во "Время и мы" (№ 80) и утверждает, что эмиграция заболела "циклопизмом" — плоским, нереальным видением мира, сводящимся к национализму и тоталитаризму. Выход он видит в возрождении местного ощущения, которое противопоставляет общегосударственному и всенациональному: "Национализм торжествует, когда погибает местное ощущение человека, когда ослабевают его связи с Тосканой, Рязанью, Текоа — тогда ему нужны идеалы Италии, России, Израиля".

Игорь Померанцев, недавно опубликовавший книжку прозы, помещает в "Синтаксисе" кратчайшую пьесу об эмигрантах и их взаимоотношениях с местным "западным" населением. Действие происходит в неизвестной европейской стране, эмигранты — из неизвестной восточно-европейской страны, но ситуации знакомы и точно, гротескно и пародийно схвачены. Европейцы для эмигрантов — "инопланетяне", у которых и чувств-то нет. Короче — происходит обмен штампами. Но Померанцев умеет писать густо и точно.

Игра со штампами — штука опасная, требующая мастерства и ощущения грани допустимого. То, что получилось у Померанцева, не получилось у А.Кустарева, подражающего не то Померанцеву, не то Зинику. Его миниатюра "Дети солнца" — обыгрыш штампов, которые изрекают по очереди "садовник, кучер, лакей, истопник, горничная и кухарка", но которые принадлежат к различным направлениям русской эмиграции. К этому сводится его нехитрый прием: берется сентенция, например, "мы восстановим все церкви" и вкладывается в уста Лакея. Смеху-то!

СОМНИТЕЛЬНАЯ МИФОЛОГИЯ

Малоудачный раздел "Истории и мифологии" открывает порядком устаревшая статья Г.Померанца, написанная без малого 20 лет назад. Каждый раз, открывая статью Померанца, я жду в ней упоминания Цинь Ши-Хуанди, и Померанц еще ни разу не обманул моих ожиданий. Это, к слову, единственный китайский император, которого он упоминает. Его эрудированные рассуждения обо всем понемногу как-то проходили в наши веселые 60-е годы, но сейчас мы уже привыкли к большей точности, без пустого жонглирования именами. Например, упоминая Японию, Померанц безбожно путает все эпохи, говоря о "пограничных войсках, действующих против айну", и о сегуне, "главнокомандующем в походе против северных варваров", "обладавшем всей полнотой власти... в XII-XIII веках".

Сегун (полностью "сем-и-тайсегун" — "покоритель восточных, а не северных варваров") командовал в боях с варварами — кумасо, а не айну. И происходило это в VI, а не XII веке, и полнотой власти он не обладал. Сегуны после 1192 года взяли себе этот древний титул, хотя они никогда не воевали ни с какими варварами, и их войска никак нельзя назвать "пограничными".

В другом месте Померанц говорит, что древние евреи "пресмыкались в мерзости рынка" — и это в XIII-XIV в.в. до н.э., когда рыночными отношениями в Ханаане еще и не пахло! На-

стало время сказать: Г.Померанц устарел, и его обобщения больше не убеждают.

Малоинтересна и статья Ольги Матич о "Палисандрии" Саши Соколова, одном из лучших достижений современной зарубежной прозы. Ольга Матич подробно пересказывает содержание романа, который мы и так можем прочесть, и со старательностью прилежной ученицы отмечает "дионисийскую карнавальность" и прочие штампы пост-бахтинского литературоведения. Этот жанр всегда граничит с самопародией, и у Ольги Матич можно найти такие перлы, как: "Как Шива в ипостаси Лингэма, Палисандр предстает перед нами "двуполым", наделенным и фаллосом, и вульвой", или "раблезианская оргия сексуально-эксcrementального характера", или "на смерть Брежнева Палисандр реагирует, как типичный обладатель эдипова комплекса".

За такие красоты можно поставить зачет, можно выставить в "Уголке псевдоинтеллигентов", похвалить за знание материала, — но как к статье в журнале к этому и отнестись невозможно.

Она не одна — "22" опубликовал не так давно подобную "рецензию" на книгу Люксембурга, именуемую там "еврейской мениппеей". Видимо, вслед за "марксистской брехней и фрейдистской гнилью" (Набоков из того же "Синтаксиса" № 15) теперь нас собираются травить бахтинским жаргоном.

СИМВОЛЫ И КУРЬЕЗЫ

Но еще похлеще статья Мих.Вайскопфа "Ленин как мифологический тип", практически скопированная с главы о Чернышевском в "Даре" Набокова. Техника Набокова в этой главе проста, чем и воспользовался Вайскопф, — без ссылки на источник вдохновения. Вот, для развлечения читателя, цитаты из Вайскопфа — и Набокова:

НАБОКОВ О ЧЕРНЫШЕВСКОМ

Поступив в Саратовскую семинарию, он там показал себя скромным и ни разу не подвергся поронции. "Государю твоему повинуйся, чти его и будь послушным законам", — тщательно воспроизводил он первую пропись. Господи, да ведь вилюйского исправника звать *Протопоповым* (курсив В.Н.)! Биографы размечают евангельскими вехами его тернистый путь. Страсти Чернышевского начинаются, когда он достиг Христова возраста. Его позорный столб — "товарищ Креста".

Эта чужая свадьба была сыграна 19 мая 1848 года; в тот же день, 16 лет спустя, состоялась гражданская казнь Чернышевского.

И так далее: поиски смысла и символика в совпадениях — смехотворное направление, которое теперь можно смело называть "иерусалимским" после статьи Назарова об "Аэлите" в журнале "22" и статьи Вайскопфа о Ленине в "Синтаксисе", статьи Каганской о братьях Стругацких.

Вся статья Вайскопфа сводится к фразе из Набокова: "Както Крупская с мягкой грустью сказала Луначарскому: "Я думаю, что между Лениным и Чернышевским было очень много общего". Писать этим стилем безумно легко, например: "Миша Вайскопф прилежно занимается и успевает. Аккуратно носит свой пионерский галстук, по вечерам маменька Софья Исаковна гладит его паровым утюгом" или "Курьезное совпадение: первый раз в жизни Вайскопф напился 13 октября, в национальный праздник непьющей Норвегии".

ВАЙСКОПФ О ЛЕНИНЕ

"Крестник Белокрысенки — отрок законопослушный, исправно ходит к исповеди и не пропускает молебнов. Названия сочинений: "Лошадь и польза, приносимая ею человеку".

"Над купелью товарища Ленина склонился господин *Белокрысенко* (курсив М.В.)!

Глушь Симбирска сходит за вифлеемские ясли. Богородицу, как положено, зовут Марией.

Курьезные совпадения: письмо Троцкому Ленин продиктовал Крупской 21 декабря, в день рождения Сосо."

ЕВРЕЙСКИЕ СУДЬБЫ В "22"

Несмотря на экскурс в общеэмигрантские дела, "22" продолжает печатать и материалы, связанные с Израилем, еврейством и еврейской эмиграцией. В 47-м номере даны три интервью с тремя деятелями алии: Виктор Богуславский рассказывает о героическом периоде — начале 70-х годов, а два новоприбывших — Этерман и Прайсман — о нынешнем состоянии еврейского движения в СССР, Судя по этим интервью, нынешнее еврейское движение в России — это религиозное движение сектантского типа, к которому принадлежит несколько сот семей, соблюдающих кошер, разговаривающих на иврите и мечтающих об ешиве в Иерусалиме.

Разговоры о тысячах и миллионах желающих уехать в Израиль, которые ведут Щаранский и другие, видимо, основываются на желаемом, а не на действительном. А мечты религиозных евреев в России слишком уж далеки от израильской реальности, хоть и не так далеки, как этого хотелось бы нерелигиозным израильтянам.

Интервью Богуславского вызвало немедленную реакцию Гиллеля Бутмана, его поделника. Спор Бутмана с Богуславским и другими идет уже много лет, и в нем когда-то активную роль играли супруги Кузнецовы, бывшие на переднем краю борьбы с Бутманом. Вкратце, они обвиняют Бутмана в том, что он затеял похищение самолета, а затем покаялся на суде. Бутман отрицает, что он каялся, и говорит, что его не поняли. С годами интерес к этому спору ослабевает — но 48-й номер по-прежнему содержит хорошую дозу материалов на эту тему.

К израильской тематике можно отнести и документальную повесть Рафаила Блехмана об израильской разведке, основанную на нескольких вышедших на других языках книгах, и в первую очередь, по-моему, на книге Стивена Стюарта "Руководители израильского шпионажа". Но автор использовал и другие материалы — в том числе и книгу "Месть", рассказывающую об охоте на террористов "Черного сентября", которую вел израильский Мосад в начале семидесятых годов.

Повесть Блехмана интересна хотя бы потому, что по-русски эта тема ранее не освещалась, но ее основной недостаток — вторичность, основанность на опубликованных книгах, а не на первичном материале.

МЕЖЖУРНАЛЬНАЯ ПЕРЕКЛИЧКА

Вообще, несмотря на споры, все русские журналы в эмиграции как-то сообщаются и постоянно переключаются друг с другом. Так в журнале "Время и мы" (№ 88) была напечатана "Непереносимая легкость бытия" Милана Кундеры. В "22" (№ 47) идет спор о связи с этой книгой Кундеры.

Норман Подгорец, редактор американского журнала "Комментари" упрекает Кундеру в том, что он не призывает к крестовому походу на Москву, в том, что он не видит мир черно-белым: с одной стороны — советская Империя зла, с другой стороны — американский Диснейлэнд, где все прекрасно. Но Кундера видит проблемы общие для Востока и Запада, и в приведенной в "22" (№ 47) речи в Иерусалиме он называет "трехглавого врага искусства: отсутствие чувства юмора, кич и недомыслие прописных истин".

Другой пример переключки между журналами: в "Синтаксисе" (№ 15) — статья Дм. Бобышева о Бахыте Кенжееве и в одновременно вышедшем "Континенте" (№ 48) — стихи Бахыта Кенжеева, талантливого и малоизвестного московского поэта — "смогиста", недавно эмигрировавшего в Канаду:

**Работай — я спорить не буду,
под медленный шепот дождя
с авоськой порожней посуды
в заброшенный дворик входя.**

Дуплетом выстрелил и Александр Верник, живущий в Иерусалиме поэт мощной "харьковской мафии" (Лимонов, Милославский и другие). Его стихи появились в "22" (№46) и в "Континенте" (№48). Лирика Верника черна и безысходна, смерть и болезни маячат за каждой второй строчкой:

Вероятно, весь я умру во вторник
или
Помнишь, в Харькове на барахолке
павильон "Под куполом смерть"

или развернутое и все объясняющее:

Видать — в облюбленной Богом стране
что-то не больно можется мне.
Все остальное — больно.
Было б разумней не жить вполне.
Впрочем, живу добровольно.

И к нему подходят слова Бобышева о Бахыте Кенжееве из "Синтаксиса" (№15): "Какова их жизнь теперь, у заморских Капулетти? Он и не скрывает: трудно. Но так повелось, что поэты сами, сознательно или интуитивно, напарываются на болевые обстоятельства: только эдак можно уловить и передать в словах ту божественную вибрацию страдания и счастья, любви, муки и музыки, которая делает чернильные каракули на клочке бумаги — поэзией".

Вскоре выходит книжка стихов Верника, первая не самиздатская, после многих журнальных публикаций — пусть на него обратит внимание почтеннейшая публика.

Из прозы в журнале "22" хочется отметить публикацию рассказов Кирилла Тынтарева, талантливого автора, разрабатывающего малознакомый для нас и необычный материал — жизнь в провинциальном израильском городке. Это, пожалуй, один из самых ярких примеров "израильской прозы на русском языке" — как, скажем, прозу Искандера можно назвать "абхазской прозой на русском языке" — то есть довольно относительно.

Его герои — не русские эмигранты, и точка отсчета тщательно замаскирована, дается она лишь несколькими фразами сочувствия, а не холодного любопытства. Вот его герой: "Жизнь никогда не давала Ашеру выбирать: или бери что есть, или не бери вовсе: школу, Малку, Ализу, городишко на окраине еврейского государства, фильм в единственном кинотеатре". Его судьба — городишко Эмек-а-Хасед, Долина Милосер-

дия, ибо "суди нас Создатель не по милосердию, но по суду, ни мгновения не устоял бы мир".

Тынтарев — бесспорно, один из самых интересных русских израильских авторов. Его книга вскоре выходит в издательстве "Москва-Иерусалим".

И наконец, на закуску — блестящая подборка стихов Эдуарда Лимонова в "Синтаксисе" (№ 15), лучшая с 1981 года, когда альманах "Руссика" напечатал его "Балладу парка Лоб-бо":

Девушка с толстым бедром
Занята длинным хорошим письмом
В парк вдруг заходит печальный никто
Член показать из пальто.

в которой желающий может увидеть пародийное отражение встречи Навзикаи и Одиссея ("Никто").

В "Синаксисе" напечатаны явно новые стихи эмигрантских лет, так никогда и не печатавшиеся отдельным изданием. Даже воспоминания о Харькове выглядят совсем по-другому с берегов Сены:

... И помню я водки холодный стакан
Прическу под Элвиса Пресли
Я харьковский вор. Я бандит-хулиган
Пою под гармонику песни...
Мне Немченко Витька с похмелья играл
Любил меня Витька Карпенко
Сестра у него была полный отвал
В нее был влюблен друг мой Генка.

И жизнь сегодняшняя:

К чему эта жизнь меня приведет
Как всех к концу, а конец один
Я вижу как грубо мой труп кладет
Нет он не поправит за членом член
чтоб мягко лежали, не терлись бы
его профсоюз ввиду низких цен
ведет забастовку против судьбы

И это, и прекрасные стихи "Иуда на Бродвее" хочется цитировать целиком, с начала до конца. Эта публикация напоминает об ограниченности наших издателей, недостаточно оценивших этого превосходного поэта. Ведь что ни говори, поэзия Лимонова куда интереснее его прозы.



Яэль ДАЯН

ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА

Из книги воспоминаний о Моше Даяне "Мой отец и его дочь"

О МОШЕ ДАЯНЕ И ЕГО ДОЧЕРИ

В этом номере вниманию читателей предлагается глава из книги воспоминаний дочери Моше Даяна Яэли Даян о двух последних годах жизни выдающегося израильского полководца и политического деятеля. Хотя мемуары об отце, по-видимому, принесли дочери Даяна наибольшую популярность, она ко времени их выхода уже успела опубликовать несколько книг, в их числе наибольшую известность получили: "Новое лицо в зеркале", "Синай, июнь 67, личный дневник", "Три недели по осени", "Два сына у смерти".

Предлагаемая глава, безусловно, правдива, я бы даже сказал, обнаженно правдива. Яэль Даян несколько не идеализирует образ отца. С другой стороны, на ее воспоминаниях лежит печать субъективности, обиды за то, что Моше Даян, человек в последние годы очень состоятельный, владелец бесценной археологической коллекции, все это решил оставить второй жене и ничего — детям.

Впрочем, эта испытываемая дочерью Моше Даяна обида (по-человечески вполне понятная) не мешает ей нарисовать чрезвычайно интересный, колоритный и во многом противоречивый образ отца. Даян не

был ни философом, ни интеллектуалом в общепринятом смысле слова хотя и увлекался поэзией. Он был человеком действия. Родился в кибуце, в Дгании (которую иногда называют "матерью кибуцов"), позже родители переехали в трудовое поселение Нагалал. С детства он был привязан к земле и крестьянскому труду. И так до конца дней оставался самим собой: воином и землепашцем. Мать его, уроженка России, в детстве читала ему Пушкина, Лермонтова, в какой-то степени возможно, и это влияло на его характер.

Уже в юношеском возрасте он вступил в подразделение Хаганы и начал быстро продвигаться по военной линии. Во время Освободительной войны 48-го года его назначили военным губернатором Иерусалима, а затем и начальником Генерального штаба израильской армии. В дни Шестидневной войны 1967 года Даян стал министром Национальной обороны. Говорят, что ему прежде всего Израиль обязан своей блестящей победой.

Однако война Судного Дня, которая застала Израиль со "спущенными штанами", нанесла тяжелый урон престижу Даяна, от которого он не мог оправиться многие годы.

После падения на выборах 1971 года правительства Рабочей партии и победы Ликуда Моше Даян "перешагнул" через партийные барьеры и занял в кабинете Бегина пост министра иностранных дел. Он был инициатором интенсивных мирных переговоров с Каиром и считается, что он сыграл большую, может быть, решающую роль в установлении мира между Израилем и Египтом.

Моше Даян был человеком оригинальной мысли. На политической арене Израиля он выделялся своим ясным умом, острым политическим чутьем, способностью быстро находить единственно верные решения. Это он после Шестидневной войны стал инициатором политики "открытых мостов" с Иорданией, позволившей не отрезать арабов, живущих на Западном побережье от их соплеменников.

Выросши в близком соседстве с арабами, он хорошо знал их язык, быт, психологию, понимал их интересы и, несмотря на войны, которые с ними вел, был проникнут к ним добрыми чувствами. Он не хотел уходить с завоеванных территорий, но в то же время был решительным противником их присоединения к Израилю. В своей политике он непрестанно стремился к достижению какого-то *modus vivendi*, который, с одной стороны, сохранил бы права арабов, а, с другой — дал возможность евреям не чувствовать себя чужими на землях, которые некогда были частью их национальной родины.

В связи с этим характерна речь Даяна, произнесенная им в 1956 году на открытии могилы Роя Руттенберга. Вот что было сказано в этой речи:

"Вчера утром был убит Рой. Свет весеннего утра ослепил его, и он не видел покушавшихся на его жизнь на разрыленной борозде. Нечего

нам возводить обвинения против убийц, нечего удивляться их острой ненависти к нам. Восемь лет они сидят в лагерях беженцев в Газе и видят, как мы превращаем их земли и села, в которых жили их отцы и деды, в наше достояние. Не от арабов, а от самих себя мы должны требовать возмещения крови Роя. Счет с самими собой мы должны сделать сегодня: мы, поколение поселенцев, без стальной каски и жерла пушки не сможем посадить дерево и построить дом".

По мнению Даяна, еврейско-арабский конфликт — это конфликт двусторонний, в котором у каждого народа есть своя правда, достойная уважения и признания. В то же время он был истинно израильским лидером, проникнутым чувством справедливости борьбы еврейского народа за свое существование и решимостью довести эту борьбу до конца, каких бы она ни требовала жертв.

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ

ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА

В мае 1979 года — ему было тогда 64 — отец вернулся домой после поездки на Ближний Восток. По приезду он дал согласие на то, чтобы врачи его основательно обследовали. Анализы и рентгены не установили каких-либо изменений в легких и позвоночнике. Но сердечная мышца ослабла и наблюдались перебои пульса. Однако это не объясняло нехватку железа в крови, что, как позже выяснилось, было связано с его роковым заболеванием.

Почти каждый год, в мае, незадолго до своего дня рождения отец просил декламировать ему отрывок из стихотворения Натана Альтермана "Не давайте им ружей": "Еще помнить буду, сестра, небо-не-небо, на полях ветер кружится. Май красивее всех прошлых майских месяцев, которые родила матушка-Земля".

Отец чувствовал себя неважно, выглядел плохо, и было у меня ощущение, что каждый наступающий май будет для него все менее красивым.

В июне, после тщательного обследования кишечника, у него был обнаружен полип — неизвестно какого характера. Операция была назначена тотчас же. Рахель, вторая жена Даяна, позвонила мне по телефону и попросила прийти. Мы сидели в саду, и она сказала насколько могла непринужденно: "Твой отец идет на операцию для удаления полипа в кишечнике".

Я чему-то заупрямилась; уже не помню, у кого из нас двоих вырвалось слово "рак". У обеих в глазах стояли слезы. Чем кончился разговор, я также не помню — на меня нахлынула буря переживаний и, как всегда в таких случаях, оценки разума отступили на задний план.

Я была в курсе современной медицины, знала, как люди борются с раком и побеждают. Так что само слово "рак" не действовало на меня устрашающе, и все-таки прозвучало оно как смертный приговор, — хотя и не тотчас, но было ощущение приближающегося конца — где-то там, за углом.

Я сказала Рахели, что необходимо сообщить обо всем братьям, и мы отправились в другой конец сада, где отец был занят промывкой камней из своей уникальной археологической коллекции. Мне с трудом удавалось сдерживать слезы, голос мой дрожал, и я почувствовала, что не в состоянии выдать слово.

Отец, по-видимому, понял мое состояние и старался выглядеть равнодушным. "Ничего ужасного", — сказал он улыбаясь. Я еще удивлю всех вас, операция несложная, и, если рак не развился, то очень скоро вернусь к работе".

Мне не стало легче. Он показывал камни, которые мыл, любовно гладил их, словно в каждом видел живое существо. И мне начинало казаться, что все это сделано не руками человека, а как бы случайная игра природы. В какой-то момент я почувствовала, что отец хочет уйти от реальности к мистике. "Что такое, вообще, смерть! — рассуждал он вслух, — празднество червей! Ты ведь знаешь, что я никогда не боялся этой минуты... " — "Твои слова малоубедительны, — сказала я. — Подумал ли ты о своей смерти в связи с теми, кто останется после тебя и без тебя?"

Только когда он прикоснулся к моему плечу, я почувство-

вала, что плачу. "Я еще не умираю, еще нет, а ты уже большая девочка! — И он показал мне камень, — Не правда ли, он напоминает голову льва?" — Я покачала головой, прикоснулась к камню, вытерла слезы и ушла.

Его примирение со смертью доходило почти до желания смерти.

Смерть — венец жизни; с известной точки зрения, — ее апогей, хотя и не продолжение. Это может удовлетворить тех, кто верит в жизнь после смерти. Отец не принадлежал к таким.

Вернувшись домой, я рассказала о предстоящей операции отца. Я немного успокоилась и больше не драматизировала событий.

Когда я пришла к нему после операции, то нашла его спокойным, даже с улыбкой победителя. Рак не распространился, и спустя три недели отец мог возвратиться к работе. В то время я навещала его каждый день. Иногда он принимал меня с теплой улыбкой, а иногда не хотел, чтоб нарушали его покой, и уделял мне всего несколько минут.

Однажды я пришла к нему вместе с братьями, и он завел разговор о своем завещании, точнее о последнем завещании, где он справедливо разделил наследство между всеми нами. Почему он снова вернулся к завещанию? Состояние его было хорошим, и не было никаких причин возвращаться к этой теме. В глазах каждого из нас (троих его детей) разговор этот вызывал лишь отвращение.

15 июля, через три недели после операции отец принял участие в заседании правительства и возвратился к делам в Министерстве иностранных дел. Он был еще слаб, страдал от хрипоты, но анализ крови был в порядке и не было нужды в химиотерапии и облучении. И все же я считаю себя вправе сказать, что отец жил 64 года, а в течение двух лет умирал.

В то время это было еще смутным ощущением, которое я подавила небольшим усилием воли. Если бы я дала этому чувству свободу, возможно, его два последних года были бы иными.

Вероятно, я не была достаточно разумной и мужественной

и дала ему просто умирать в течение этих лет, которые были годами увядания Даяна, вызывающими к нему жалость и сострадание. Вместо того чтобы кричать, я говорила шепотом; вместо того чтобы занять определенную позицию, я покори-лась без слов; вместо того чтобы привести его в состояние гнева (в котором он часто черпал силу и убежденность), я любовью конфликт, по возможности, затушевывала и смазывала.

Мелочи, сходявшие за проявление ума, душили меня, и то, что внешне выглядело как его "защитный пояс", оборачивалось для него саваном.

Характер отца формировался в борьбе и конфликтах. И закалялся в боях. Он бывал на высоте в состоянии высшего напряжения. И подымался на вершины спонтанно, мало думая о самозащите.

Перед лицом жестоких требований он достигал апогея и в конечном счете был верен самому себе и счастлив. Он был человеком вызова и борьбы. И история представляла ему для этого много возможностей.

Когда ситуация казалась безвыходной, чутье подсказывало ему единственно верный путь — не путь бегства, а путь прорыва, неожиданный и незаурядный.

В течение двух лет умирания его лишили стихии борьбы. Его окружили ласками и удобствами, его любили и слушались, его баловали и ухаживали, пока он не завял, как росток из пустыни — от избытка воды и палящего солнца.

Я бы могла облегчить себе душу и сказать, что все это размышления после случившегося, никто не мог предполагать и так далее, но в этом случае я погрешила бы против правды — я сознательно принимала участие в происходящем, перед опасностью разрыва в наших отношениях. Да, я была участницей не очень большой, но очень важной для него группы людей, создавшей вокруг него нечто вроде оранжереи — оранжереи для растения, которое нуждалось в смене времен года, в суховеях, в прохладе ночей в пустыне.

В октябре того же 1979 года, через три месяца после операции отец ушел из правительства Бегина. Бегин и его министры как будто были готовы начать переговоры о палестинской ав-

тономии, но конечная цель состояла в том, чтобы в той или иной форме после переходного пятилетнего периода присоединить к Израилю Иудею, Самарию и сектор Газы. Переговоры о других решениях палестинской проблемы выливались в пустые речи, под прикрытием которых должна была осуществляться эта задача Бегина.

Отец отвергал мысль о создании Палестинского государства между Израилем и Иорданией, но он противился и насильственному присоединению арабских земель. Он был готов пойти на упразднение военной администрации на оккупированных территориях и выдвигал идею провозглашения односторонней автономии, если не будет другого выхода. Он считал, что не следует вводить воинские части и, тем более, создавать новые поселения в густонаселенных арабских районах. Армией следует пользоваться исключительно в оборонительных целях на определенных территориях.

Он полагал, что необходима связь арабского населения с Иорданией и верил, что с течением времени будет осуществлен "функциональный", а не территориальный раздел Западного берега. Однако к последнему, по мнению Даяны, шло правительство Бегина, которое стремилось навязать арабам израильский суверенитет и таким образом превратить евреев в оккупантов Иудеи и Самарии. По мнению отца, впоследствии эти районы частично должны были войти в состав Иордании на федеративно-конституционной основе.

Так Даян оказался в правительстве в меньшинстве, а проблема была слишком важна, чтобы какая-то из сторон могла пойти на уступки. Впрочем, как это уже бывало, отец, вероятно, остался бы в правительстве, придерживаясь своего мнения. Но для этого вопрос должен был остаться в его ведении. Однако ответственным за переговоры назначили доктора Бурга* и отцу ничего не оставалось, как подать в отставку.

Бегин выразил сожаление, но отставку принял, восхваляя министра иностранных дел за его деятельность, особенно во всем, что касалось соглашения с Египтом.

Отец возвратился на свое место в Кнессете, расположенное далеко от стола правительства. Он не ушел из парламента, но

* Бург — министр внутренних дел.

сказал, что это его последний Кнессет. Свою отставку он определил так: "Облегчение, смешанное с разочарованием".

Новые выборы должны были произойти спустя 18 месяцев, и на вопрос, что он намерен делать сейчас, Даян ответил, что собирается писать, выступать, встречаться с еврейскими общинами в странах рассеяния. Если ему будет что сказать, он позаботится о том, чтобы быть услышанным. Для этого он не нуждается в звании члена правительства и даже в депутатском мандате. Теперь у него была масса свободного времени и он часто приглашал меня на утреннюю чашку кофе в саду.

Я же в те дни много времени отдавала занятиям в Университете. Взяв несколько курсов по биологии и прослушав затем курс цитологии, я могла лишь убедиться, сколь бедны мои знания в области биохимии. Мне предстояло работать больше, чем другим, и, если я все-таки не сдалась, то, наверное, потому, что оказалась на пороге понимания сущности и строения биологического существа.

К большой моей радости, я утратила чувство Алисы в стране чудес и научилась относиться к науке не как к области, где волшебники творят чудо, а как к поприщу, где человеческий мозг работает непрерывно и при помощи опыта, поисков и заблуждений приходит к открытию все новых процессов.

Занималась я также и домашними делами, притом с удовольствием. Огорчения и срывы мои не были слишком глубокими. И страдания не возносились до небес. А чисто внешние атрибуты жизни просто теряли смысл. Коль скоро я в состоянии была заниматься, читать лекции, писать; коль скоро все это приносило душе покой, я была довольна.

Я не приобретала новых вещей, а избавлялась от тех, что были, список адресов и телефонов сократила до минимума. Я рада была каждой возможности жертвовать и давать при возможности, при условии, что буду свободна от обязанности получать. У меня не было никаких долгов — за исключением тех, что я возложила на себя добровольно по отношению к своей семье.

Я все меньше нуждалась в коммуникациях с внешним миром во имя каких-то заранее поставленных целей. Будь то

письмо, полученное от верного мне читателя или от издателя, стремившегося напомнить, что я профессиональная писательница, — ничто и никуда не могло толкнуть меня, я знала, что будущая книга будет написана только тогда, когда я буду к этому готова. У меня не было никаких мессианских амбиций, связанных с моей писательской деятельностью — но было внутреннее убеждение, что рост и развитие, которые я переживаю, еще принесут свои плоды.

За год до этого, в 1978 году отец опубликовал книгу "Жить с "Танахом" — по моему мнению, самое зрелое и блестящее произведение из всего им написанного. Книга точно соответствовала своему названию: связь между библейской жизнью Эрец Исраэль и жизнью моего отца на этом фоне. Книга представляла собой ряд эпизодов, свободных ассоциаций, представленных в хронологическом порядке библейских событий.

Отец сравнивал библейских праотцов с еврейскими поселенцами Гдании и Нагалала, которые слышали зов "Уйди из твоей земли!"

Исход из Египта вызывал у него ассоциации с Синайской войной, — Освободительной Войной и Землей Обетованной. Он писал о Судьях и Правителях древнего Израиля, о Иерусалиме царя Давида, о Шестидневной войне, о Давиде Бен-Гурионе. Отец не пытался комментировать Библию, но избрал отрывки, рассказы и события, которые выражали, по его мнению, сущность нашего права на страну, на ее защиту, выражали право жить в ней и умереть за нее.

Поиск преемственности, который отражался в его археологических изысканиях, обрел свое новое значение, когда он писал об этой преемственности в своей книге.

Впрочем, морально-философского аспекта еврейства — он не затрагивал, но коснулся его в маленьком стихотворении, которое оставил нам, чтобы мы читали его после его смерти: "... Праотцы, борьба за свободу, превращение племенного общества в нацию, первые ее цари, физическая борьба с врагом и природой, воины, павшие на поле брани в прошлом и настоящем, глиняные сосуды и саркофаги, захваченные в войнах, статуи божков..." Его ассоциации были физически зримыми:

трещины в измученной жаждой земле, розы Шарона, кустарник в пустыне, пещеры в Эйн-Геди, серны в пустынях Иудеи. Его героями были Гидеон и Барак, Меир Гар-Цион, Саул и Ионатан, царь Давид, Бен-Гурион и Альтерман... Из Библии он взял все, что было связано с народом и страной: неисчерпаемые глубины еврейской морали; он писал о времени, когда у народа была только Книга, и сам народ был без страны и продержался лишь благодаря Вере, которую требовали от него пророки. Талмуда и "Мишны", без которых народ не сохранился бы, он не касался. Он идентифицировал себя с семьей и людьми, жившими в долине Беер-Шевы две тысячи лет назад, еще до отца Авраама, — это их страна, их Родина. Его семья не погибла в Дахау, не служила тайно своему Богу в средневековой Испании, не сражалась в Варшавском гетто, не вдохновлялась народными сказаниями о еврейских местечках Восточной Европы и не пряталась в горах Атласа. Его семья не остряла на идише, не читала Танаха с гортанным сефардийским акцентом и не исполняла хасидских танцев.

В стихотворении, обращенном к нам, он писал о "мече над вашей кроватью". В его лексиконе каждый камень на границе исполнен смысла. "Будущие границы Израиля — тема, наиболее близкая моему сердцу со дня создания государства", — писал он на последней странице своей книги. Что же касается совершенствования общества, идеологических основ равенства и социализма (которые составляли символ веры его родителей), то это никак не доминировало в системе его ценностей. Я думаю, что все это он считал само собой разумеющимся и потому не видел необходимости распространяться. Он всегда отличал образ вождя, служащего своему народу, от моральности его частной жизни. Поэтому для него утрата еврейских моральных ценностей не представляла собой части цены, которую народ должен был платить за свое национальное существование.

На склоне лет, когда я уже повзрослела, меня занимал вопрос, на который я не находила ответа: что мы противопоставили вере в Бога кроме золотого тельца. Простая формула "Израиль вместо еврейства" не удовлетворяла ни меня, ни моего отца. Великий идеал Бен-Гуриона невозможно было осуществить без моральной силы этого человека. Он был

скорее продолжателем пророков, нежели, царей древнего Израиля. Он черпал свою духовную силу в греческой философии и мудрости Талмуда, но не за счет трезвого реализма в государственных делах. С точки зрения идеала и предвидении будущего, Даян всегда шел по стопам своего учителя. Пробелы в систематическом образовании он компенсировал острой интуицией и способностью к ориентации. Но он так и не нашел решения в конфликте между еврейской моралью и золотым тельцом, и в последние годы усилился шум монет в его ушах, шум фальшивый и соблазняющий.

Как я уже писала, у отца было много свободного времени, и он часто приглашал меня по утрам посидеть в саду, возле дома. Во время наших бесед я поведала ему только малую толику этих размышлений. Его ухудшающееся здоровье превратило его не только в постаревшего, но и в постоянно раздраженного и рассерженного человека. И эта его повышенная чувствительность заставляла меня не касаться больных тем, способных лишь вызвать разногласия. И если у меня возникали сомнения, — а это случалось довольно часто — то рядом тотчас оказывалась Рахель с целым списком аргументов, цель которых состояла в одном: ненароком не задеть и не уколоть отца. Не успевала я переступить порог его дома, как она с самыми лучшими намерениями, с глубочайшей заботливостью и стопроцентной уверенностью в своей правоте предупреждала меня обо всем, что было не в духе отца и о чем нельзя говорить.

Разлад между тем, что происходило в моем мозгу, и тем, что выражали мои уста, все более увеличивался, и это отдаляло меня от отца. Я покорно подчинялась требованиям беречь его здоровье и душевное спокойствие и поэтому говорила не всю правду. Однако я опасалась, что сам он знает о своем состоянии все, и всякий раз испытывала неловкость от своего притворства. Я попала в западню, которую можно оправдать, когда речь идет об отношениях между родителями и взрослеющими детьми, но когда речь идет о двух взрослых людях, этому нет оправдания: создается заколдованный круг притворства, целью которого является сделать приятное, но приводит это к потере собственного достоинства и взаимного доверия.

Вот так мы и сидели в саду, смотрели на птиц, пьющих из каменного корыта, и разговаривали. Отец говорил о счетах за электричество, повышении налогов и инфляции. Его скупость всегда служила предметом насмешек в нашей семье. Деньги стали для него почти больным местом, и это тогда, когда он нуждался в них меньше всего. Все духовные размышления и задушевные беседы отошли на второй план.

Болезнь отца отразилась на его внешнем виде: теперь у меня просто сжималось сердце, когда я смотрела на него. Он перенес операцию грыжи, вынужден был перейти на строгую диету, потерял в весе. Вначале это казалось желательным. Но потом все более начало беспокоить. Он вынужден был принимать лекарства, чтобы уменьшить давление жидкости в области глаза, но это вредило сердцу, ибо снижало кровяное давление. Его сердечная мышца ослабла, и общее состояние не позволяло сделать операцию.

Но что сильнее всего беспокоило — это большая потеря зрения. Его походка потеряла уверенность. Он не мог читать и на чем-то сконцентрироваться. Он был всегда чем-то огорчен и вечно нетерпим. Однако, несмотря на слабость зрения, он никогда не терял перспективы, способности разбираться в общественных делах.

Да и в стене, которой его окружили, нет-нет, да и случались прорывы. Когда Рахель уходила из дому, он, бывало, звонил мне и приглашал зайти, чтобы прочесть статью, которую написал, — перед ее опубликованием; а иногда, более редко, чтобы поговорить о мелких делах, которые не хотел затрагивать в присутствии Рахели. У него не хватало духу изменить образ жизни или обычаи, навязанные ему, но он часто ощущал необходимость разъяснить вещи, которые самому ему были не по нраву. То, что он их принимал, не выражало его согласия с ними.

Было трогательно наблюдать этот диалог с самим собой в моем присутствии. Темы чаще всего вращались вокруг Рахели: подтягивание ею кожи на лице, дорогие меха, шумные приемы, драгоценности... Он пытался оправдать ее дорогой и повседневный уход за собой некой непостижимой для него

женской мистикой. Он, конечно, понимал, как это неубедительно звучит, и чувствовал себя не совсем ловко. Он скучал в обществе богатых друзей, которые кружились возле него и устраивали в его честь богатые обеды. Он не жаловался, ибо сам избрал этот новый стиль, преисполненный внешней мишурой, но вечно испытывал потребность убедить меня, что система его ценностей не изменилась.

Он улучал момент, чтобы спросить о матери, которая все еще жила в США и работала в Южной Америке: чем она занимается, чем интересуется, как у нее со здоровьем? Он очень любил мою бабушку и никогда не забывал узнать о ее самочувствии, интересовался, о чем думают и что делают мои братья.

Мы много говорили о хозяйстве в Нагалале, о болезнях оливковых деревьев в Эйн-Геде, о подрезании фруктовых деревьев — он как будто специально давал мне понять, что отдаст себе отчет, насколько мелка его теперешняя жизнь, в отличие от подлинных ценностей прошлого. Было что-то ребяческое в его стараниях убедить меня в том, что уступки, сделанные им, — чисто внешние.

Когда появлялась Рахель, он чувствовал себя как ученик, уличенный в неприличном поступке. Она же всегда восклицала: "Яэль, какой сюрприз!" — А я вместо того чтобы сказать, что отец позвонил и попросил зайти, должна была чуть ли не извиняться за свое присутствие: "Я случайно проходила мимо...".

Станным образом он рассердился на меня из-за моей поездки с детьми за границу на летние каникулы. Чтение лекций для Магбита (когда собирались деньги для Израиля) — это он одобрял и всегда гордился моими успехами, но личная поездка, пусть даже на собственные средства, показалась ему излишеством. Я попробовала ему что-то объяснить, но безуспешно. Мы летели по удешевленному тарифу, во Франции и Женеве жили у друзей, в Париже остановились в квартире у нашего друга из Чикаго. Я едва ли не показывала ему счета, пытаюсь объяснить, что, не имея прислуги, я все деньги откладывала на это путешествие, но и это не помогло. Он затаил

против меня обиду, словно за совершенный мной грех. И даже своей радостью от поездки в Египет я не могла сгладить его обиду.

Дорогие меха и драгоценности не интересовали меня — ни сами по себе, ни как предмет чьей-то критики. Но когда я слышала от старых товарищей, что Даяны используют все это для получения кредитов, то чувствовала себя униженной. Моя мать была бедной и расточительной, иногда даже слишком щедрой, что мешало ей одалживать деньги. Отец в последние годы был богатым и скупым, вот почему мне трудно было признать его недовольство справедливым.

Мать одаривала нас подарками. А отец требовал высокую плату за все. Я ехала в Париж на празднование 70-летия Ротшильда, одного из самых дорогих и щедрых людей еврейского мира, и заплатила отцу за лампу, которую повезла ему в подарок. Я купила у отца и Рахели бухарский ковер, "немножко поврежденный", и они, со своей стороны, рады были продать мне его по "минимальной цене", в которую оценил его торговец коврами.

Другую, купленную у них ценность, я вынуждена была вернуть уже после того как заплатила за нее, — выяснилось, что это дурная подделка. После того как они навестили моего брата, Аси, он вынужден был вернуть им картину Дали, подаренную ему несколько лет назад матерью. Придя ко мне в гости, отец обнаружил другой подарок матери — серебряную ханукию, которую я должна была вернуть ему. Он сказал, что Ханукия дорога ему как память, поскольку на ней была посвященная ему надпись. Возможно, эти мелочи и не стоят того, чтобы быть упомянутыми, но обойти их, — значит отступить от правды: они невольно всплывают в памяти, когда я думаю о сущности перемен, происшедших в жизни отца.

... Аси развелся с женой, а сын Зорика, брата Даяны, женился. Родители моей матери переехали в Герцлию, и книга отца "Вечно ли будет меч над нашими головами?" вышла в свет.

Когда отец покинул правительство Бегина, он заявил, что больше никогда не "побежит" в Кнессет. Он был против суще-

ствования "мелких" партий, а Рабочая партия не могла ему простить, что он перешел в другой лагерь, Я не знаю, чем в конце концов было вызвано его решение создать партию и выступить с собственным списком на выборах в Кнессет. Впрочем, он сам выступил с заявлением, дающим ответ на этот вопрос: проблемы, вокруг которых развернулась предвыборная борьба, были слишком серьезны, чтобы он мог позволить себе сидеть на заборе и хладнокровно наблюдать или, скажем, ограничиться писанием статей. Он считал своим долгом выражать собственное мнение, критиковать и выступать с предложениями. Он пользовался поддержкой, в том числе и финансовой, со стороны верных приверженцев и открыто заявил о своем выходе на арену боя.

Избирательная кампания была сопряжена с тяжелыми переживаниями. Я присоединилась к ней без особой охоты, скорее из личных соображений. Политическая программа Даяна не включала ничего такого, чего нельзя было найти у других партий. Состав его списка не производил особого впечатления, не считая двух-трех возглавляющих его лиц. Голос отца был ясен и самобытен во всем, что касалось Палестинской автономии. Во всем прочем в программе отца не было ни благовеста, ни вообще нового слова.

В свое время, когда Даян должен был присоединиться к партии Рафи, возглавляемой Бен-Гурионом, он сказал, что не может каждое утро просыпаться с мыслями о позорном деле (имеется в виду "Дело Лавона"), о попорченной правде и справедливости. Теперь сторонники Даяна должны были каждое утро просыпаться с мыслью об автономии для завоеванных палестинских территорий.

Сам вид больного отца побуждал тех, кто его любил, присоединиться к его партии без всякой связи с проблемой функциональной автономии или его бесцветной экономической программой: "Это ведь Моше Даян, молодой бунтарь израильской политики, национальный герой, за плечами которого сложная жизнь. С его ослабшим зрением, неуверенной походкой, охрипшим голосом, впалыми щеками, облысевшей головой — он вдруг так человечен! Его слабости — это наши слабо-

сти и сегодня и в будущем. Он просит доверия, он хочет быть услышанным, и мы должны дать ему трибуну с любовью и честью".

Мы голосовали за него, чтобы самим себе напомнить о нашем мужестве в юношеские годы. Голосовали, забывая о том, что в этом нет никакого смысла, голосовали без веры и вдохновения, только потому, что чувствовали: нельзя отказать ему в праве на борьбу и личную победу.

Опросы пророчили двенадцать мандатов, а затем — пять или шесть, но его собственная оценка была ближе к действительности. На сей раз его пессимизм оправдался полностью. Я выступала, произносила речи, последний месяц работала со всем энтузиазмом, на который была способна...

Утром в день выборов мы сидели в саду, и он в предвидении их результатов говорил об одном или двух мандатах. Все, кроме отца, были разочарованы. Цель стать решающим фактором при формировании коалиции не была достигнута. Избирательная кампания стоила отцу много денег, еще больше подточила его здоровье и ухудшила и без того тяжелое настроение.

Мои попытки приоткрыть шлюз для его диалога с Рабочей партией не увенчались успехом. Партия эта потерпела на выборах поражение, оказалась после них расколотой и не нашла в себе мужества (по-видимому, на это способны лишь победители!) предложить отцу вернуться и занять место, которое ему по праву принадлежит.

На протяжении его двадцатилетней карьеры у него было много возможностей бороться за право быть вождем. И он мог им стать. Но в течение двадцати лет отказывался это сделать. Он ждал, что его "позовут", и никогда, по его словам, не "бежал" во главе списка. За три месяца до смерти отец изменил себе: он решил взять инициативу в собственные руки, и услышал приговор народа. Он, правда, говорил, что у него не было иллюзий, но как человек мужественный самому себе не мог не признаться в поражении. Даже сейчас его хриплый голос и шепот звучали, как гром.

Тот, кто видел отца после выборов, уже не мог не думать,

что он смертельно болен. Кожа его приобрела землистый цвет, одежда висела на нем, чувствовалось, что физически он приближается к концу.

Я говорила с Рахелью, с ее и моими знакомыми докторами, мне казалось, что каждый из них знает что-то такое, чего не знаю я — но никто не мог меня успокоить.

Анализы крови не указывали ни на какие признаки рака, не было опухолей или других следов злокачественного процесса. Похоже, и состояние сердца не могло объяснить быстрое ухудшение его здоровья. Если Рахель даже знала больше, чем я, то и она была в состоянии растерянности. Мы обе испытывали острую боль беспомощности. Он же — чем сильнее от нее зависел физически, тем более своевольничал по отношению к ней, — по крайней мере, в моем присутствии, и это являло собой ужасное зрелище. Он заставлял ее молчать, требуя от нее полного подчинения, и после всего этого отмахивался, как от назойливой мухи. Он насмехался над ней, жаловался на нее, был к ней бессердечен. А она все переносила безропотно, с любовью и пониманием, по-видимому, отдавая себе отчет в том, что он воюет не с ней, а пытается таким образом цепляться за жизнь.

Я помнила, как это происходило с моей матерью и как она страдала от переносимых ею унижений. Я была уверена, что он раскаивается и мирится с ней, когда они остаются наедине. Моя мать все это переносила с великим терпением, на которое только и способна любящая женщина.

Последнее время он почти с восхищением говорил о состоянии своего сердца. По его словам, в одно прекрасное утро он может не проснуться, "эта пуля имеет свой адрес, и она попадает в цель без предупреждения". Иногда он заводил разговор о своем завещании (о каком?), к тому времени было уже много завещаний.

Однажды в присутствии моего мужа он сказал, что чувствует, что может передать в мои руки археологическую коллекцию, потому что я буду знать, что с ней делать.

В других случаях вспоминал детей моего брата Уди в связи с квартирой, которая ему принадлежала. В туманных выраже-

ниях он говорил, что проявил щедрость в отношении Рахели, ибо перед ней еще длинная жизнь, и ответственность за ее благополучие ложится на него. Он не был озабочен будущностью ее дочерей, хотя и любил их очень. Он считал, что у них есть отец — богатый и заботливый.

Впоследствии я узнала от моего друга, присутствовавшего при разделе наследства, что он имел в виду первое завещание, составленное после брака с Рахелью. В нем он поделил свое имущество на три равные части: треть — Рахели, треть — двум взрослым детям Узи и треть — братьям и мне. Я не поддерживала этих разговоров. Все это было его монологом, я не спрашивала ни о чем и не делала замечаний. Он говорил о будущем, которое я отказывалась принять, будущем без него.

Летом мне предложили работу в большом Бюро информации, и я охотно согласилась. Невозможно было жить на одно жалованье. Вместо того, чтобы зарабатывать писательским трудом, я училась и, таким образом, тратила свои сбережения, хотя вначале думала, что не притронусь к ним.

"Не рассказывай ему, что ты идешь работать из-за жалованья, — сказала Рахель, — это его расстроит. Он привык видеть тебя самостоятельной и устроенной...".

Вот почему я сказала отцу, что речь идет о новой для меня области, которую мне хотелось изучить. Потом я решила взять детей и отправиться путешествовать в Европу, хотя догадывалась, что это возмутит его. Но на этот раз ему не удалось вызвать во мне чувство вины. Система моих ценностей оставалась непоколебимой. У меня не было долгов, жили мы скромно, я никому не была в тягость.

Мы отправились в южную Францию, бродили по закоулкам Авиньона, восхищались работами Шагала и Матисса в Ницце.. Мне хотелось побаловать детей новыми запахами и звуками жизни, а саму себя — отпуском: я пыталась прогнать мысль о том, что это последнее лето в жизни отца.

Возвратились мы в конце августа. Я начала работать в Бюро информации, а мой сын Дан готовился к своей бар-мицве,*

* Тринадцатилетие у мальчиков.

которая должна была состояться три месяца спустя.

27 августа отец подписал текст последнего завещания, в присутствии свидетелей и отменил все предыдущие. Согласно последнему завещанию, он оставлял Рахели все, что находилось в его владении, а также и то, что полагалось ему в качестве пенсии и гонорара за авторские права. Подписывая это, он сохранял ясность ума и был в полном сознании. Он хотел быть погребенным в Нагалале и просил, чтобы не произносили надгробных речей над его могилой. Он владел собой и всеми своими чувствами. И если он не говорил о ценности своего имущества и о будущем своих детей, — то не потому, что был сенилен или потерял память. И не под влиянием лекарств или заинтересованных сторон.

Я, как и мои братья, ничего не знала о происходящем. Мы были погружены в заботы о его здоровье и подавлены чувством собственной беспомощности.

Узи переживал кризис. Он хотел оформить развод и знал, что в результате этого потеряет свою землю в Нагалале. "Не рассказывай об этом отцу, сердце его будет разбито", — говорила Рахель. Но тот, кто видел в эти минуты отца, знал, что это только слова.

Аси оказался умнее: он был в долгах, как в шелках, и знал, что отец — единственный адрес, откуда могла прийти помощь. Он решил встретиться с ним и выложить карты на стол. В ответ из уст отца посыпались упреки. Но Аси стоял на своем. Он говорил об ответственности родителей перед детьми и вырвал у отца обещание выдать сумму, которую он просил. Отец сердился, возможно, был оскорблен и даже потрясен, но этого столкновения нельзя было избежать, и Аси был тем, кто на него решился.

Еще не кончилось лето с его сухими ветрами и песчаными бурями, а виноградные листья в нашем саду в Эйн-Геди приобрели коричневато-зеленый оттенок, будто для того, чтобы соблазнить дождь и облака.

Мне всегда казалось, что конец лета, подобно закату, печальнее, чем осень, и грустнее, чем ночь. Новый год и праздники не улучшили моего настроения.

Новый год, как и день рождения, побуждал оценить год уходящий и выявить цели будущего.

Очень неохотно отец согласился пригласить внуков на празднование Нового года. Он выдвинул условие, что праздник не продолжится слишком долго. За день до этого Рахель свалилась с тяжелым гриппом. Поэтому подготовка легла на мои плечи. Для каждого из внуков я готовила сладости, которые должны были торжественно вручаться детям во время праздника.

Отец сидел в саду, окруженный детьми и внуками, как патриарх: Уди, трое его ребят и две жены, Аси с дочкой и сыном, дочери Рахели, одна из них с двумя детьми, мой муж и я с сыном Даном и дочкой Рохеле. Дети были везде; они взгромодились на римские саркофаги, сидели на византийских колоннах церквей, лакомились яблоками с медом, звонили в старинные бронзовые колокола. Откуда они могли знать, что в их жизни это был последний час, проведенный вместе с бабушкой?

Аси отправился в спальню Рахели и получил там деньги, которые просил у отца. Дети стояли у входа в ее комнату и вежливо поздравляли ее с Новым годом, отец казался довольным, был ласков с детьми. Он, как ни в чем не бывало, разговаривал с ними о дождях, которых так жаждала земля, о своей новой археологической коллекции и о книге, которую собирался написать. Однако зрение и слух его совсем ослабли, и столпотворение вокруг него казалось ему туманным шумом. Милые маленькие существа вырастали перед его глазами и тотчас таяли. "Все это ваши?" — спрашивал он с улыбкой. "И твои!" — отвечали мы. "Нет, нет, не преувеличивайте!"

Как я скучала в тот день по матери! Она любила семейные встречи. Когда ее не было, мы устраивали, по требованию отца, пасхальные трапезы (но без чтения "Агады"), мы проводили ханукальные вечера с оладьями, свечами и пением в нашей квартире. День Независимости мы обычно праздновали в Эйн-Геди.

Отец никогда хорошо себя не чувствовал на этих праздниках, он воспринимал их как необходимость — и не более. Он

всегда говорил, что было бы лучше, если бы у него вообще не было семьи, и у меня не оставалось сомнения, что именно так он думал. Все чаще ко мне приходила мысль, что его примирение со смертью и отсутствие страха перед ней, возможно, было ничем иным как проявлением эгоизма.

Мое отношение к смерти было таким же, пока не родились дети. Мне было безразлично, что будет после меня, и я могла лишь надеяться на смерть без болей и страданий. Единственное побуждение бороться со смертью проистекало из чувства ответственности и любви к тем, кто может наслаждаться моим присутствием или страдать после моего ухода.

У отца не было такой заботы и подобного чувства долга. Он предпочитал не иметь детей и после того как мы повзрослели. Концентрируясь на себе, он не считал себя обязанным заботиться о нашем счастье или считаться с нашей болью, когда он уйдет из мира сего.

Мы говорили о положении государства, его будущее он рисовал довольно мрачно. Все эти прекрасные дети вынуждены будут воевать, отстаивая свое право на существование. Та же участь неизбежно ждет и их детей... Он не был в отчаянии — мы будем воевать и побеждать, но пройдет много поколений, прежде чем наступит мир, если мы, вообще, когда-нибудь сможем увидеть мир на своей земле. Эпос Масады, в котором евреи предпочли самоубийство покорению Риму, был всегда ему чужд. Теперь, перед смертью он написал статью, в которой изобразил Масаду как духовный пример и образец для подражания.

Содержание этой статьи "Победа потерпевших поражение" было скорее пророчеством, чем пожеланием. Я смотрела на своих детей, игравших в саду, и могла точно определить разницу между отцом и мной. Нет, я не хотела, чтобы они были "победителями, потерпевшими поражение", и не рассматриваю смерть как вершину жизни. Я верю в святость жизни, и принесение ее в жертву оправдано в моих глазах только тогда, когда цель этой жертвы — продолжение жизни других, (например, в навязанной войне).

Дан готовился к бар-мицве не потому, что наша семья была

религиозной (я совсем не уверена, что и после бар-мицвы он будет ходить в синагогу), и не потому, что мы семья из Беершевской лощины или семья самоубийц с вершины Масады. Семья наша способна существовать и без страны...

... По дороге домой все были погружены в молчание. Даже дети не могли не почувствовать, насколько ухудшилось состояние бабушки. Рахеле задремала в машине — это был ее способ самозащиты от грустных мыслей. Откуда-то звонила мать, чтобы пожелать нам всем счастливого Нового года и обещала быть в стране в будущем году.

Вопреки огромной разнице между двумя женами отца, было у них и что-то общее: в стиле поведения, а также в системе ценностей. Их любовь к нему была абсолютной и бескомпромиссной. Особенность характера матери состояла в ее способности поступиться собой; Рахель, напротив, отстаивала себя. Отец любил и возносил оба этих качества своих жен, поскольку оба приносили ему удовлетворение.

Моя мать отвергала все привилегии, которые вытекали из статуса отца. Но это только на первый взгляд. Рахель же открыто отстаивала свое право на эти привилегии и принимала их как нечто само собой разумеющееся. Моя мать критиковала слабость отца. Рахель же давала ему отпущение грехов. И обе они верили, утешая себя, что сколько бы он ни тянулся к другим женщинам, в конце концов ему не избежать западни, которую они готовили ему.

В разные периоды жизни они стремились стать его идеалом, каждая мечтала быть принцессой в его глазах — в глазах бедного деревенского парня. Но мать моя была городской принцессой, стремившейся превратиться в Золушку, а Рахель — принцессой, которая сама себе создала королевство. Если бы они вздумали обменяться впечатлениями, то пришли бы к выводу, что Моше Даян, принадлежавший Рут, ничем не отличается от Даяна, принадлежавшего Рахели. Он был тем, каким хотел предстать перед каждой, или лишал каждую определенной стороны своей личности, в соответствии с тем, как было ему удобно, и в той мере любви, на которую был способен.

Моя мать неоднократно доказывала, что любит меня, но я не уверена, что она всегда была ко мне дружелюбно наст-

роена и хорошо чувствует себя в моем обществе.

Рахель пыталась завоевать мою привязанность и дружбу, и иногда ей это удавалось. Однако самое ужасное в ее отношении я почувствовала тогда, когда она цитировала мою мать, которая якобы сказала: "Я не завидую Рахели, получившей Моше, потому что вместе с ним, в том же пакете, она получила и Яэль".

Не так уж существенно, было этой правдой или выдумкой, но повторять эти слова вслух может только человек бесчувственный и злой. Во всем прочем наши отношения с Рахелью были неопределенными и потеряли свое значение в перспективе. Она исчезла из моей жизни, как я из ее, не оставив никаких следов.

В новогодний вечер в доме отца на меня нахлынули мысли о семейной жизни, и я ощутила в этом доме вакуум — Рахель не могла заполнить создавшейся пустоты. Ее место в жизни отца, вообще, не было связано с семьей. И если она заполнила его сердце настолько, что мы, дети, были выброшены за борт, то причиной была все та же невидимая мышца его сердца, которая в последние годы ослабла и потеряла свою эластичность,

Мы уехали на несколько дней в Эйн-Геди и возвратились оттуда к Судному дню. Созрели гранаты, и в ожидании дождя я посадила зимние цветы. Перед праздником Суккот дети не пошли в школу. Я должна была подготовить отчет для своей лаборатории, и в эту неделю раз или два побывала у отца. Он говорил о новой книге, которую готовился написать, он собирался предпослать книге посвящение: "Героям моего народа" — мужчинам и женщинам, в которых он видел примеры и образцы для подражания: Хана Сенеш, Ионатан Натаньягу, Меир Гар-Цион и другие. Во время нашего разговора отец заметил ветвь, которая отрывалась от ствола. Он согласился, чтобы я а не он, взобралась по шаткой лестнице наверх и возвратила ветвь на место. Он держал лестницу и при этом говорил: "Взберись высоко, насколько сможешь, не бойся, я держу лестницу". Я не боялась. Он поддерживал лестницу, и я взбиралась высоко, насколько это было возможно.

... Праздник Суккот — это праздник сбора урожая, и сказа-

но о нем: "Праздник урожая — в конце года, и ты собираешь плоды дел своих на полях..." Слова "урожай", "собрание урожая" относятся к пшенице, овощам, к винограду и меду, но они относятся также и к жизни человека.

Человек "собирается" — "приобщается" еще при жизни: "Соберите народ, освятите кагал!"; и в боли своей: "Собери, вызволь его из тяжелой болезни!"; и в стыде своем: "Не соберут — не похоронят!"; и в смерти своей: "Поэтому я собираю — приобщаю тебя к отцам твоим, и будь ты собран-приобщен в мире к могилам твоим!"

В пятницу, 16 октября 1981 года мой отец Моше Даян был собран-приобщен к отцам своим.

Перевод с иврита Соломона ЦИРЮЛЬНИКОВА

ИЗВИНИТЕ ЗА ДОНОС

Вокруг статьи С.Хмельницкого "Из чрева китова"

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

КТО ОБВИНЯЕТ СИНЯВСКОГО

В 48-м номере журнала "22" было напечатано тридцатистраничное сочинение Сергея Хмельницкого "Из чрева китова". Сочинению предпослано предисловие члена редколлегии журнала Александра Воронеля, которое он озаглавил "Право быть услышанным".

Из статьи мы узнаем, что ее автор в течение многих лет был секретным сотрудником (сексотом) советских органов госбезопасности, и по его доносу были арестованы и отбыли по пять лет в лагерях два совершенно невинных человека — Брегель и Кабо.

Что же представляет собой сочинение Хмельницкого? Кто такой сам Сергей Хмельницкий? И что, вообще, побудило его взяться за перо? С первых его слов становится ясным, что свое сочинение он посвящает писателю Андрею Синявскому. Чтобы понять существо дела, нам кажется небезынтересным коснуться содержания статьи и проследить ход мысли автора.

Итак, начинается он следующими словами: "Последнюю часть своего выдающегося произведения "Спокойной ночи" Андрей Донатович Синявский почти всю — больше ста страниц — посвятил мне. Правда, он не назвал мою фамилию, а только имя — Сергей, Сережа, временами почему-то стыдливо заменяя его инициалом С. Речь, однако, идет именно обо мне".

От того же Хмельницкого мы узнаем, что в романе "Спокойной ночи" он "представлен негодяем, подлецом, подонком, органическим предателем. И даже не просто человеком — исключением из биологии... "скорлупой", из которой вырезана душа". Утверждая, что автор романа сочинил о нем "вопиющую клевету" и "публично" очернил его "скромную личность" Хмельницкий углубляется в далекие события их юношеской дружбы и постепенно переходит с одной темы на другую, главную, ту, ради которой он и сел за свой многостраничный труд — уничтожение личности Синявского.

Начать он решил с корней, с семьи, с "культурной дремучести" юного Синявского, с его "правоверного экстремизма". Даже, когда этот "примитивный подросток состарился и овладел, по Ильичу, всеми богатствами культуры", он не переставал завидовать Хмельницкому, его "скромной интеллигентности", и от этого "ненавидел" его "потаенной непримиримой ненавистью"

Но главное не в том, чтобы принизить интеллектуальный облик Синявского — это делается как бы мимоходом и в основном, когда речь идет о юности писателя. Цель статьи — изобличить, так сказать, экзистенциальную сущность его характера, представить его перед читающей публикой подлым лицемером и предателем. Для этого Хмельницкий и пытается вывернуть наизнанку последнюю главу из романа "Спокойной ночи". Ради этой светлой цели и берется за одного из главных персонажей Синявского — француженку Элен, их сокурсницу по университету.

Из романа мы узнаем, что органы поручают им обоим следить за Элен, дочь французского военно-морского атташе, и доносить обо всем, что было связано и с ней и с ее пребыванием в Москве.

Наиболее тяжкая миссия возлагается на Синявского — влюбить в себя Элен, сблизиться с ней и таким образом поставить ее на службу дьяволу. И вот тут, по утверждению Хмельницкого, его друг совершает по отношению к нему вероломное предательство. Ведь он-то, Хмельницкий, уверен, что со времени появления Элен и получения задания от органов Синявский автоматически становится таким же сексотом, как он,— тем более, они во всем открываются друг другу. (В дальнейшем это утверждение, как крещендо, как лейтмотив, проходит через все его сочинение: да ведь он, этот обожаемый всеми вами Синявский, такой же, как я, завербованный ими агент!). Но в том-то и дело, что Синявский оказывается не таким. Он только делает вид, что такой, он лишь играет роль. На самом же деле, рискуя головой, решается на опаснейший обман дьявола. Притом сговорившись со своей будущей "жертвой" Элен и во имя ее спасения.

Итак, чтобы сорвать пьесу, они договариваются разыграть ссору и разрыв, якобы происшедший между ними. Но делают это за спиной Хмельницкого, которому оба не доверяют (и правильно делают, как мы узнаем из его же сочинения!). Более того, для придания своему разрыву правдоподобия они решают использовать Хмельницкого, его верную службу органам. Они извещают его о разрыве в расчете, что он-то донесет куда следует. Вот это, последнее, и возмущает больше всего Хмельницкого: как же так? И этого человека он считал близким другом, доверялся ему! Разве это не подлость, не предательство со стороны Синявского?

После этого Хмельницкий переходит к наиболее тяжелой части своего сочинения — к собственному доносу на двух своих друзей — Брегеля и Кабо, студентов исторического факультета университета. И здесь его неожиданно покидают изящный слог и полет фантазии, которые

сопутствовали его изобличениям Синявского. О доносах он, конечно, жалеет, в содеянном раскаивается и, как может, извиняется. Но сам становится скучен и ординарен, как герой дурного романа какого-то там Юлиана Семенова. Достаточно только послушать его оправдательные пассажи — как злодеи-гэбэшники вынуждали его, несчастного, доносить: "Не нужно с нами хитрить, мы все знаем. Ваша задача дружить с ними по-прежнему, почаще встречаться, слушать и запоминать... Утаите — пеняйте на себя. Вы в особом положении. Нет, с Кабо и Брегелем вы себя не равняйте. С ними мы, может быть, поговорим и отпустим. А вы наш сотрудник, с вас другой спрос. С предателями мы расправляемся беспощадно. Много ли смысла погибнуть в 23 года? Да и жертва бессмысленная — ничего особенного с вашими друзьями скорее всего и не будет. Прочистим мозги, вытряхнем дурь — и все..." Так я купил свободу и, может быть, жизнь,— заключает Хмельницкий,— ценой свободы двух моих товарищей, ни в чем, конечно, неповинных. Очень, слишком, недопустимо сильно мне хотелось тогда жить." И снова про то же: что никогда бы он не пошел на все это; если бы органы не парализовали его угрозой неминуемой гибели.

Впрочем, даже тут он не забывает Синявского, который в романе "Спокойной ночи" "сочиняет монолог,— мой монолог, подчеркивает Хмельницкий, обращенный к родственнице Брегеля, живущей в Средней Азии. Как я жил у нее, конечно же — опивал и объедал и производил речи, которые ...помните слюней мармелады?"

Ниже мы еще вернемся к теме доносов Хмельницкого и к тому, насколько он искренен в своем сочинении, и будет даже случай вспомнить родственницу Брегеля (через посредство которой А.Д., по словам Хмельницкого, изображает его в романе "супермерзавцем" и "суперпошляком"). А пока заметим лишь, как, невразумительно объяснив причины своего падения, он снова обращается к изящной словесности. Он не жалеет красок, чтобы описать ситуацию, в которой оказался, неся на себе репутацию агента и доносчика. Но очень скоро уводит себя в тень, и снова не он, а Синявский оказывается на мизансцене. Сам же он не ищет сочувствия у читателя — сочувствие ему ни к чему — а ищет понимания своей ненависти к Синявскому, который в своем двуличии только делал вид, что, как истинный друг, входит в его положение и по-прежнему доверяет ему, а на самом деле всегда был себе на уме. И ни на грош не верил ему. И ни разу не поделился, когда посылал на Запад свои "терцины".

Собственно, на этом фабула сочинения кончается, хотя цветистый текст его тянется еще на несколько страниц. Они посвящены подробнейшему описанию венской "детективки", куда органы привезли Синявского, чтобы все же заполучить через него ту же, возделенную для них Элен. Из романа мы знаем, что Синявский и на этот раз их провел. В своей телеграмме, вызывая Элен в Вену, он вставляет условленный шифр — слово "обязательно", что означает "не приезжай".

Хмельницкий снова вне себя и ни на секунду не верит, что Синявскому удалось так легко провести наши славные органы. Мы же помним, что Синявский для него такой же сексот, как он, и это для него аксиома, с этого его не сбить. И вся венская "детективка" — только лишнее подтверждение, что А.Д. — стукач не заштатный, а, так сказать, доверенный и, следовательно, уже настоящий агент и предатель. И в доказательство сему он восклицает: "Многие ли из миллионной армии советских стукачей удостоились доверия участвовать в таких вот зарубежных операциях? ... И прекратил ли он свою секретную патриотическую деятельность сразу, по возвращении в Москву?" "Не знаю. Я досе в руках не держал"... — приводит он в ответ исполненную смысла цитату. Читать Хмельницкого, разумеется, надо шире, и подтекст его более, чем прозрачен: а не продолжает ли Синявский, "писатель-символ", "писатель-мученик", "независимо мыслящий, либеральный", — изгиляется Хмельницкий, — так вот, не продолжает ли он свою "секретную патриотическую деятельность" и сейчас, уехав на Запад и живя в Париже?

Таково вкратце сочинение Сергея Хмельницкого, которое опубликовал журнал "22" на своих страницах. Не будем гадать о цели этой публикации, но нам кажется, что ни одно советское издание не могло бы пойти на такой рискованный шаг — напечатать пасквиль штатного сексота против крупного русского писателя и назвать его при этом "человеческим документом", который "мы не вправе игнорировать", как говорит о нем Александр Воронель. Не в силу высокой моральности не сделал бы этого советский орган, а в силу отсутствия там таких возможностей для лжи (о прошлой жизни) в сравнении с теми, что существуют здесь, в эмиграции. Трудно лгать, если на каждом слове ты можешь быть пойман: сослуживцем, бывшим товарищем, сокурсником, наконец, просто жертвой твоей не порядочности. А тут, как говорится, свобода. Свобода прежде всего от свидетелей. И для тех, кто ею умело пользуется, она автоматически превращается в свободу от морали, от нравственной ответственности за сказанное и содеянное. Да и сама нравственность, если послушать Александра Воронеля, — понятие весьма относительное. "Мы живем в такое время,— философически заявляет он,— когда деление людей на праведников и грешников кажется уж очень неадекватным. Речь, по видимому, может идти только о мерах и степени порядочности." То есть нет в наше прекрасное время больше людей цельных и порядочных, а есть лишь — давайте уж доводить мысль до конца — так вот, есть лишь подлецы и предатели, правда, неодинаковых степеней — просто подлые или, скажем, слегка с подлянкой, более подлые и подлецы, так сказать, законченные. И, если развить эту глубокую мысль, то вряд ли развернется такая уж глубокая пропасть между стукачами и их жертвами. Ведь все они, по словам А.Воронеля, равноправные участники "бесконечной коллективной исповеди, которой, в сущности,

222 ВОКРУГ СТАТЬИ С.ХМЕЛЬНИЦКОГО "ИЗ ЧРЕВА КИТОВА"

и является русскоязычная пресса. А потому давайте откроем наши журналы для исповедальных откровений гэбэшных палачей, сексотов, мучителей из пыточных и психушных камер, разверзнем наши души в "коллективной исповеди". Впрочем, хватит. Поставим на этом точку за ясностью вопроса. По крайней мере для нашего журнала.

Что касается "человеческого документа" Сергея Хмельницкого, то как раз к нему-то у нас есть что добавить. Выясняется, что и в эмиграции нет абсолютной свободы для лжи. Нашлись и здесь свидетели по поводу некоторых вещей им сказанных. Нет, не всех, и не все, к сожалению, свидетели, но те, что есть, явно заслуживают доверия, в том числе, доверия и самого Сергея Хмельницкого. Итак, первое слово берет Элен Замойска (Пельтье). Хмельницкий называет ее "преlestным существом, попавшим в наш железный, навечно ориентированный мир как бы с другой планеты... Она была личностью очень для нас интересной и вместе с тем — символом иного, недоступного существования."

Что же она свидетельствует?

ПИСЬМО ЭЛЕН ЗАМОЙСКА (ПЕЛЬТЬЕ)

АНДРЕЮ СИНЯВСКОМУ

22 августа 1986 года

Дорогой Андрюша!

На днях у меня была в руках статья Хмельницкого о тебе. Печально видеть, как можно писать на таком уровне. К тому же воображение у него просто патологического характера. Так что, по-моему, не стоит даже принимать его всерьез.

Вообще он не заметил, что ты не писал точные воспоминания. Ты на основе собственного опыта написал именно роман, где личности и события во многом преображены в фантастическом духе.

Но то, что не является литературным приемом и соответствует действительности, — это фактическая сторона сложных обстоятельств нашей юности. (Сокольники, Вена). Ты открыл мне планы МГБ и роль С.Хмельницкого, и мы тогда его использовали, чтобы обмануть МГБ. Но самое важное то, что ты никогда не был "предателем". И это имело для меня не только личное значение.

Когда я после войны попала в Московский университет, передо мной открылся совершенно новый, непонятный мир, полный неожиданных контрастов и противоречий — я чувствовала у своих товарищей то, что я представляла себе из русского духа, то есть непосредственность, сердечную простоту, жажду культуры и высокого идеала. Но все эти качества были как-то заглушены общей тяжелой атмосферой. Мне казалось, как будто железный занавес глубокого недоверия стоял не только между мной и другими, но между нашими товарищами — они повторяли высокопарные фразы о счастье человечества, а я остро ощущала одиночество каждого. Кому доверять?

Еще поражало меня в них полное отсутствие этических основ. Путали они добро и зло, совсем не понимали, что это значит. Помню, что это было главной темой моих споров и рассуждений не только с тобой, но и почти со всеми товарищами.

В один прекрасный день такой вопрос не стал отвлеченным для тебя. Тебе пришлось выбрать. Несмотря на твою тогдашнюю веру в идеальный коммунизм, несмотря на опасность, ты поступил, как герой из "Первого круга", решил, что нужно жить прежде всего по совести. Ты не обманул меня, не предал. Совершилось чудо доверия. И я этого никогда не забуду.

Я тогда поняла, что ты вступил в невидимый духовный союз со всеми, которые стараются защищать достоинство человека от обмана, лжи, неволи, насилия на твоей родной земле и везде в мире

Позже, когда вместе с Ю.Даниэлем ты не признал себя виновным, это было большое событие не только в честь тебя, но в честь твоей Родины.

Этого не понимают те, которые остались в плену железного занавеса недоверия и страха.

Духовный бой за правду, за совесть, за свободу — вечный бой. Пусть Бог поможет тебе и всем твоим духовным братьям и сестрам продолжать его.

Лена

ОБЪЯСНЕНИЕ ПОСЛЕ ЛАГЕРЯ

*Свидетельство Юрия Брегеля,
арестованного по доносу Хмельницкого в 1949 году*

Журнал "22" напечатал пасквиль на Андрея Синявского, написанный Сергеем Хмельницким в ответ на роман Синявского "Спокойной ночи". Хмельницкий — один из центральных персонажей романа, и он утверждает, что Синявский сочинил о нем "вопиющую клевету" и "кошмароподобную ложь". В ответ он сообщает свою версию многих событий, упомянутых Синявским, и противопоставляет свою характеристику Синявского той, которая дана Хмельницкому в романе А.Д. Мол — "ладно, я нехороший человек, но подлинный мерзавец — это как раз Синявский, а не я".

И в романе Синявского, и в пасквиле Хмельницкого (а также в предваряющем пасквиль философском предисловии Воронеля) поминается мое имя и немалое значение придается роли Хмельницкого в моем аресте в 1949-м году; а Хмельницкий и Воронель также пишут о последствиях этого ареста, много позже, для самого Хмельницкого. Именно поэтому я хотел бы сообщить некоторые подробности, которых нет ни у Хмельницкого, ни у Синявского и которые, я надеюсь, позволят судить, можно ли верить тому, что пишет Хмельницкий.

Сейчас, в 1986-м году, Хмельницкий впервые, публично и печатно, признал, что он был стукачом и по его доносам были арестованы Кабо и Брегель. По его словам, в конце 1948-го или начале 1949-го года его вызвали в КГБ и, запугав беспощадной расправой, заставили начать слежку за мной и Кабо — "почаще встречаться, слушать и запоминать" (а, запомнив, очевидно, — доносить). Так Хмельницкий "купил свободу и, может быть, жизнь" ценой свободы двух своих товарищей, которые были арестованы в 1949-м году.

На самом деле роль Хмельницкого была значительно больше, чем роль простого стукача, посылавшего в КГБ реляции о слышанных им разговорах. (Кабо и мне это стало ясно, конечно только позднее, когда мы встретились перед этапом в Бутырке и могли проанализировать все материалы следственно-

го дела). Хмельницкий не только тщательно доносил о наших разговорах (это, кстати, он начал делать, по крайней мере, с середины 1948-го года: первый точно датированный разговор, "предъявленный" мне КГБ на следствии, произошел в мае 1948-го года). Он сам активно вызывал и начинал эти разговоры, и ни от кого больше я не слышал столько антисоветских анекдотов, как от Хмельницкого. Он очень хотел познакомиться Кабо и меня с Элен Пельтье. Я этого не захотел; Кабо отправился с ним к Пельтье, но не застал ее; тем не менее, это инкриминировалось Кабо на следствии. Хмельницкий пытался познакомиться со мной и Кабо еще одного человека (я не называю его, потому что он все еще, возможно, в СССР), чтобы организовать какой-то "кружок"; это ему не удалось. Перед самым арестом Кабо он привез к нему домой и пытался оставить пачку американских журналов — что по тем временам тоже было инкриминирующим материалом. Кабо отказался оставить журналы у себя; тем не менее, на следствии этот эпизод ему поминали как свидетельство его преступных намерений. Хмельницкий сообщил мне об аресте Кабо (в начале октября 1949-го года, ровно за месяц до моего ареста); затем он прибежал ко мне, когда я уничтожил свои записные книжки, и пытался меня от этого отговорить: "Все-таки жалко, — говорил он, — так много интересного!" Потом он приходил ко мне регулярно, раз или два в неделю, до самого моего ареста. Содержание разговоров, которые я вел с Хмельницким в течение этого месяца один на один, было доложено КГБ до мельчайших деталей, как и история с уничтожением записных книжек. Наконец, Хмельницкий доносил не только на меня, но и на моих родителей: во время следствия мне было предъявлено множество "антисоветских высказываний" моих родителей у нас дома, когда не было никого из посторонних, кроме Хмельницкого. По окончании следствия мне дали прочитать официальное постановление о том, что на моих родителей заведено особое следственное дело; только какие-то случайные обстоятельства спасли тогда моего отца от ареста.

Все это позволяет мне заключить, что Хмельницкий служил

КГБ вовсе не за страх, как он пытается это представить, а "за совесть" (если позволительно употребить это выражение по такому поводу), — что он был не случайным "одноразовым" доносчиком, из-за того что его припугнул КГБ, а настоящим агентом-provokatorом.

Другой эпизод, связанный со мной, по поводу которого Хмельницкий изображает свое негодование в адрес Синявского, — это его разговор с Кабо и мной после моего выступления на защите его диссертации в том виде, как этот разговор рассказан Синявским. Мне придется привести длинную цитату из статьи Хмельницкого, чтобы читатель мог уяснить суть спора:

"В 1964-м году, после последней встречи с друзьями, когда они порвали со мной... я встретился с Брегелем и Кабо. По своему почину. Я им сказал, что раскаиваюсь в том, что случилось. Что не жду от них прощения и сам себя никогда не прощу. Что блокада, лишившая меня друзей и успеха в науке, — это справедливое возмездие за беду, которую я им принес. Что я готов платить по счету до конца. На это мне было отвечено, что все мои нынешние и будущие неприятности не идут в сравнение с бедой их пятилетнего заключения. Что, конечно же, совершенно верно.

В это время А.Д., ясное дело, тайно от нас сидел под столом и все слышал. И вот как с присущим ему вкусом и талантом воспроизвел мои слова и мысли:

"Напрасно, — говорит он, — ребята, вы мне биографию запаковали, репутацию испортили. А еще друзья называются! Ну, подумаешь, отсидели пять лет всего из своих десяти. Тоже мне потеря — пять лет! А у меня из-за вас вся жизнь пошла на смарку. Карьера не склеилась. На люди в приличное общество показаться нельзя. Шепчутся. Жмутся. Избегают откровенных разговоров, признаний. Сравните: кому хуже — вам или мне? Где справедливость в мире?.."

Вот так перевел А.Д. мою скучную прозу своими веселыми "терцинами." Из низкой материи сотворил легенду. Но только под столом он не сидел". ("Из чрева китова", стр.175).

Верно, Синявский под столом не сидел, и Хмельницкий го-

ворил отнюдь не "веселыми терцинами". Но его "скучная проза" звучала совсем не так, как он это сейчас излагает. На самом деле все произошло следующим образом. После своей защиты диссертации (где он публично сказал, что мое заявление о нем — клевета), и встречи с друзьями, о коей пишет Воронель в своем предисловии, Хмельницкий действительно хотел встретиться со мной. Он позвонил моему другу Михаилу Зайду, который работал в том же Институте востоковедения в Москве, где работал я, и просил его устроить эту встречу. Я передал через Занда, что готов говорить с Хмельницким, если тот придет в "присутственный день" в институт. Совершенно случайно Кабо приехал накануне из Ленинграда (куда он переехал задолго до этого), и он тоже пришел на эту встречу. С Хмельницким была его жена; мы с Кабо попросили Занда, чтобы он присутствовал при разговоре. Беседа началась, естественно, без всяких приветствий и была очень короткой. Начал Хмельницкий, и он сказал следующее: "Почему вы ставите под удар мою семью?" Я ответил, что мы не ставили себе такой цели, но у нас не было другой возможности сказать об этом публично. А Кабо добавил: "А ты думал о наших семьях, когда доносил о нас? Для них последствия могли быть куда более серьезные". Тогда Хмельницкий сказал: "У вас пропало пять лет, а у меня теперь пропала вся жизнь". На что Кабо ответил: "Ну, это уже твой просчет: если бы не смерть Сталина в 1953-м году, то это у нас пропала бы вся жизнь, а ты продолжал бы жить как ни в чем ни бывало". Вслед за этим слово взяла жена Хмельницкого и сказала примерно так: "Он мне все рассказал, но с тех пор прошло пятнадцать лет, и он стал теперь другим человеком". Я не помню, ответили ли мы что-нибудь на это, — кажется, ничего. Хмельницкий снова заговорил: "Посоветуйте, что мне теперь делать". Я ответил: "За советом надо было обращаться до 49-го года, а не теперь". Тогда Хмельницкий сказал: "Но вы же не возражали, чтобы я пришел, и согласились со мной разговаривать". Я ответил: "А нам от тебя нечего бегать. Ты хотел прийти — пожалуйста; ты сказал что хотел, и говорить нам больше не о чем". И на этом мы разошлись.

Читатель может легко заметить, что в том, что было сказано Хмельницким, не было и намека на то, что он раскаивается и не ждет прощения, не было слов о "блокаде", "справедливом возмездии" и готовности "платить по счету до конца". (Звучит все это неплохо, но увы, — придумано позднее). Главная забота С.Х. была выражена в его первом вопросе: почему мы ставим под удар его семью (смысл был: ставим под удар, пытаясь испортить его научную карьеру). А свое сравнение пяти лет, пропавших у нас, со всей жизнью, которая пропала у него, Хмельницкий теперь приписывает в перевернутом виде нам.*

Андрей Синявский узнал об этой встрече от меня. И хоть он под столом не сидел и переложил все, по мнению Хмельницкого, "веселыми терцинами", но суть речей Хмельницкого передал правильно. Хмельницкий, может быть, забыл, что там присутствовал (тоже не под столом) еще Михаил Занд. И он может подтвердить мой рассказ — благо, он давно уже не в Москве, а в Иерусалиме (между прочим, Воронелю — рукой подать).

Еще одна связанная со мной история романа Синявского названа Хмельницким вымышленной: его визит к моей сестре в Ташкенте после моего ареста. И в этом случае я был источником информации. Родственница, о которой идет речь (ее имя — Ольга Левенсон), на самом деле — двоюродная сестра моего отца, но мы с ней однолетки и были близки действительно почти как брат и сестра. Помимо этого, однако, я должен сделать сейчас одну фактическую поправку. Хмельницкий был у Ольги Левенсон в Ташкенте не после моего ареста, а незадолго до него, в конце августа или начале сентября 1949 года. А сразу же после моего ареста Хмельницкий тоже пришел к ней, но уже в Москве (куда она в это время приехала в отпуск, к матери), и выражал печаль и волнение по поводу этого. Я об этом узнал значительно позже, из рассказов в семье, и для меня эти два визита слились в один эпизод. Недавно, уже после выхода в свет "Спокойной ночи", Ольга Левенсон эмигрировала, и я мог ее расспросить и выяснить, ког-

*Интересно, что Воронель подхватил эту прекрасную идею в своем предисловии.

да именно Хмельницкий был у нее в Ташкенте, все это, впрочем, не меняет существа дела. Существо это не в том, действительно ли Хмельницкий предпочитал вино водке, а в том, что у него хватило наглости и цинизма, чтобы пользоваться гостеприимством моей близкой родственницы в то самое время, когда он усиленно писал на меня доносы в КГБ, и чтобы после моего ареста прийти к ней с выражением тревоги и соболезнования. Не скажет ли Хмельницкий, что такие поступки были тоже следствием страха, внушенного ему гебистским куратором? Но похоже, что он эту сторону дела вообще не замечает: его негодование и ярость вызваны тем, что Синявский приписывает ему "пошлость". Как можно — при хорошем-то вкусе Хмельницкого!

Я не берусь судить о фактах, связанных с историей отношений между Хмельницким и Синявским, и разных фактах из жизни обоих, которые упоминаются в пасквиле Хмельницкого: с А.Д. я познакомился в 1975-м году, уже после отъезда из СССР. Но то, что Хмельницкий лжет или пытается ввести в заблуждение читателя, когда он пишет об эпизодах "Спокойной ночи", связанных со мной,* дает мне основание думать, что он лжет и по другим поводам. Во всяком случае, Воронель несколько поторопился, когда он опубликовал этот опус как "человеческий документ".

Юрии БРЕГЕЛЬ

ВИЗИТ ПОСЛЕ ДОНОСА

Свидетельство Ольги Левенсон, встретившейся с Хмельницким после его доноса на Брегеля

Я только что прочитала статью Сергея Хмельницкого "Из чрева китова", помещенную в журнале "22". Автор статьи обвиняет А.Д.Синявского, среди прочего, в том, что он с целью очернить Хмельницкого описал в романе "Спокойной ночи", как тот пользовался гостеприимством близкой родственницы Ю.Брегеля (на Брегеля Хмельницкий доносил и по этим доносам Брегель был арестован). "Как я жил у нее, конечно же, — опивал и объедал, и произносил речи", — пишет с возмущением Хмельницкий.

* И это — о том деле, в котором он, по его словам, раскаивается, никогда себе не простит, принимает справедливое возмездие и "готов платить по этому счету до конца"

Так как речь идет обо мне, то я хотела бы засвидетельствовать следующее. Летом (в конце августа или начале сентября) 1949-го года Хмельницкий остановился у меня в Ташкенте на несколько дней. Я принимала его как близкого друга Юры Брегеля, откровенно разговаривала с ним. В ноябре 1949-го года, когда я проводила свой отпуск в Москве, Хмельницкий был первым, кто сообщил мне об аресте Брегеля, придя для этого специально в дом к моей матери; при этом он казался опечаленным и взволнованным и говорил, что не знает, что теперь может быть. То, что Хмельницкий был у меня в Ташкенте за два месяца до ареста Брегеля, а не после ареста, как сказано у Синявского, не меняет сути дела, так как, по свидетельству самого Хмельницкого, он начал писать доносы на Брегеля и Кабо еще с конца 1948-го или начала 1949-го года. Вряд ли важно и то, на какие гастрономические темы велся разговор за моим столом. Тот факт, что человек посчитал возможным остановиться в доме очень близких людей своего друга, на которого он уже почти год писал доносы, говорит сам за себя. Аморальность этого потрясла меня в свое время, когда я узнала, по чьим доносам был арестован Брегель. С не меньшим возмущением я думаю о том, что сейчас (конечно, не зная, что я живу на Западе) Хмельницкий пытается обвинить в клевете писателя, написавшего об этом эпизоде.

Ольга ЛЕВЕНСОН

Ефим ЭТКИНД

ИСПОВЕДЬ ШЕНАПАНА

"Я для вас теперь уже не герой, каким прежде хотел казаться, а просто гаденький человек, шенапан. Ну так пусть же! Я очень рад, что вы меня раскусили. Вам скверно слушать мои подленькие рулады? Ну так пусть скверно; вот я вам еще скверней руладу сделаю..."

Эти слова принадлежат "человеку из подполья", — написал это Достоевский, а не Хмельницкий. Но, читая удивительное сочинение Сергея Хмельницкого, я постоянно их вспоминал. "Подленькие рулады" сменяются руладами "еще скверней", и, следя за этой сменой рулад, так и не знаешь, где предел, да и есть ли он вообще.

С.Хмельницкий оправдывается в глазах тех, кто прочел ро-

ман А.Синявского (Абрама Терца) "Спокойной ночи". Зачем? Ведь он по фамилии не назван; читающее человечество так бы и полагало, что писатель вообразил фигуру, характерную для времени, когда разыгрывается действие. Не это ли уязвило С.Хмельницкого? Иначе, чем желанием во что бы то ни стало прославиться, — пусть даже как доносчик, как провокатор, — его выступление в печати объяснить невозможно. Он словно кричит со всех тридцати страниц своего текста: "С" - это я, "Сережа", "Сергей" — все это я, Сергей Хмельницкий. Не забудьте обо мне, не казните меня молчанием.

В сущности, оправдываться он и не собирался — это невозможно. С.Хмельницкий знает, что вокруг него все про него все знают. Поэтому он не жалеет слов, клеймя себя: "Мой неискупимый грех, которому нет и не может быть оправдания", "... я купил свободу и, может быть, жизнь ценой свободы двух моих товарищей, ни в чем, конечно, неповинных", "... меня настигла репутация предателя-стукача... Заслуженная расплата начала настигать меня быстро и неминуемо... плоды моего подлого малодушия и трусости. И хватит об этом".

В этих строках исчерпывается содержание статьи Хмельницкого: "предатель-стукач", он посадил двух друзей, отдавших пять лет тюрьме и лагерю из-за его "подлого малодушия и трусости". В приведенном пассаже, однако, главное — последние слова: "И хватит об этом". То есть как — "хватит об этом?" Разговор только начинается. Да и преступнику ли диктовать правила поведения? "Хватит об этом" означает вот что: я за свой "грех" (так он называет *преступление*) расплатился, я в нем раскаялся, — поговорим теперь о другом, о других. Нет, о другом говорить рано. Поставим точку над "i".

С.Хмельницкий посадил двоих молодых людей (двоих ли только?) Десять лет их жизни на его совести. А чем он за это заплатил? Угрызениями совести? Он вполне благополучно жил себе дома и кормил семью, а потом ухитрился... уехать на Запад. В каком качестве "предатель-стукач" эмигрировал? Об этом он ни слова не говорит. Но догадаться нетрудно: вряд ли Хмельницкий оказался за границей без участия тех же самых органов, которым он преданно служил в должности, как он сам признается, сексота. Зачем же он им нужен на Западе? А разве неясно, зачем?

А.Д.Синявский — крупная фигура в новой эмиграции: в нем совмещаются талантливый прозаик, публицист, критик, выдающийся историк и теоретик русской литературы, искусствовед, университетский профессор, блестящий лектор и, наконец, просто храбрый человек. Ведь Синявский и Даниэль были первыми обвиняемыми на советском политическом процессе, которые не дали себя сломить и виновными себя не признали. Все это вместе взятое, но в особенности последнее — беспримерное гражданское мужество — снискало А.Д.Синявскому большой авторитет в кругах соотечественников, а также многочисленных западноевропейских читателей и слушателей. Слово его — весомо. Книги его переводятся во всех странах, и пишут о них лучшие современные критики, как правило, высоко оценивая их художественные достоинства. Влиянию и моральному весу А.Д.Синявского способствует его общественная позиция — демократа и плюралиста, на деле доказавшего преданность своим идеям и своим друзьям. Понятно, что такой человек для коммунистической власти опасен, — опаснее многих. Лучший способ расправиться с противником подобного типа — дискредитировать его.

А тут под рукой "всегда готовый к услугам" Сергей Хмельницкий. Он, словно специально, "оказывается" на Западе (говорят, даже без подходящих документов). К тому же разозленный романом Хмельницкий за словом в карман не полезет — уж он расстарается! Синявского он знал с детства, так что обличение можно начать издавна.

Мы узнаем, что мальчик Андрюша был необразован, — Хмельницкий, со свойственной ему изысканностью слога, говорит: "культурная дремучесть", начинать пришлось "с одичалого ноля" — так и сказано. К тому же он был некрасив — "неприятная жестикуляция и косые глаза. И нос... от покойного фюрера". И намеки на антисемитизм юного Андрея, и много еще всяких мелких пакостных деталей. Все черты Синявского сводятся к фантазмагории, которую и пересказывать-то неловко: оказывается, Синявскому свойственно смотреть "в самый корень", — как привыкли смотреть на невиннейшие явления в известном учреждении, знаменитом на весь мир". Иначе говоря, он как бы прирожденный чекист — раз он смотрит "в самый корень". Дальше рулада еще скверней: "И,

по рецептам этого учреждения, усматривает в моем бестактном озорстве — эстетику провокации..."

Все остальное тонет в океане болтовни. Мы узнаем, что юный Хмельницкий хотя дразнил мальчика-заика, но не бил его, что Валя Качанов "учился не в параллельном, а в нашем классе, и был не боксером, а, наоборот, мальчиком мелким и хрупким", что девочке Ире он, Хмельницкий, не прокусил губу... А Синявский — лжец, он обо всем рассказывает не так.

Хмельницкий опытен в жанре доноса, — хотя надо думать, что о Брежеле и Кабо он писал менее красноречиво, чем тут о Синявском. Да и едва ли ему хозяева из органов позволяли так вольничать и фамильярничать, как сам он позволяет себе в нынешнем — пока что последнем — своем доносе: "цель этого, пардон, сочинения", "все мои, пардон, аргументы он придумал сам", "поймал за лапу", "чудеса в решете". Жену А.Д.Синявского он называет игриво: "Майка". Все это некрасиво, недостойно, мелко. Но самое интересное, что в таком же тоне Хмельницкий говорит о мужественной подпольной деятельности Синявского и Даниэля. Его высказывания кажутся цитатами из речей гражданских обвинителей, — например, Зои Кедринной: "А.Д. уже заметно насытил западный рынок своими "терцинами" ("терцины" — от имени: Абрам Терц). О Даниэле с ехидной усмешкой сказано: "... порядочность стала как бы второй профессией".

Удалось ли Хмельницкому услужить органам и скомпрометировать А.Д.Синявского? Думаю, что органы должны быть недовольны. Человек, якобы не получивший в детстве никакого образования стал известным профессором Сорбонны, автором книг о Гоголе, поэзии первых лет Революции, Розанове, прославленных работ о Пастернаке, народной культуре, живописи Пикассо, футуризме. Разве это не возвышает А.Д.Синявского, разве не дает оснований к тому, чтобы еще больше уважать образованность и исследовательский талант?

Но вот еще важнее: как Хмельницкий ни старался угодить своему начальству, он так и не смог привести ни одного предосудительного действия ненавистного ему автора "Спокойной ночи": Синявский никого не подвел, ни о ком никаких

сведений не дал, а французскую девушку, за которой был уполномочен наблюдать, спас от советской полиции — она сама об этом рассказала. Она, Элен Замойска, подтверждает что Синявский "обманул дьявола вместо того, чтобы вступить с ним в соглашение, и тем самым попросту рисковал жизнью" (газета "Le Monde", 26 октября 1984). О чем после этого говорить? Профессиональный доносчик, годами обслуживающий дьявола, посмел выступить против человека, о котором самый информированный свидетель утверждает, что он, рискуя жизнью, этого же дьявола обманул.

Не Синявского дискредитировал С.Хмельницкий, а лишь самого себя. До публикации "памфлета" можно было думать, что он и в самом деле испытывал угрызения совести — их недостаточно, чтобы пустить пулю в лоб (как бывало в нашей стране не раз), но может хватить на то, чтобы сидеть тихо и молча, доживая свою бесславную, навсегда и безнадежно опозоренную жизнь. В нашем кругу роль, близкую к роли Хмельницкого, сыграл Е.П.Брандис: он донес на прежних своих коллег, даже друзей — Ахилла Левинтона, Руфь Зевину (Зернову) и Илью Сермана, в результате чего, например, И.Серман, осужденный до того на 10 лет лагерей, получил 25. Отсидели они шесть лет и, с наступлением "оттепели", вышли. О поведении Евг.Брандиса стало широко известно (вероятно, и он мог бы сказать в свое оправдание, как с удивительным бесстыдством написал Хмельницкий: "Очень, слишком, недопустимо сильно мне хотелось тогда жить"). Никто у нас в течение тридцати лет не подавал ему руки и в его сторону не смотрели. Недавно он умер, — был членом Союза писателей, автором книг по научной фантастике, монографий о Жюлье Верне, но пасквилей не писал и прошлое старался не ворошить: сидел тихо. Разумеется, если бы в нашей стране осуществилось нечто вроде того, что немцы назвали "денацификацией", Брандис не миновал бы позорного столба. И Сергей Хмельницкий стоял бы с ним рядом, а на груди его красовалась бы доска с надписью: "Предатель и доносчик, погубивший молодость двух своих друзей".

Так вот, повторяю, С.Хмельницкий дискредитировал само-

го себя. Из текста видно, что у него нет и тени раскаяния (вспомним: "И хватит об этом"). Он полон негодования: "А.Д. сочинил обо мне вопиющую клевету... написал обо мне кошмароподобную ложь... Я защищаю себя от неспровоцированной клеветы..." И так далее. С наглой развязностью он уверяет: "... Все это лажа. Или, как выражается один мой знакомый, милейший человек, — фуфло". Какое нам дело до какого-то безымянного знакомого, до его качеств и манеры выражаться? Я привел эту фразу С.Хмельницкого, потому что она характерна для его стиля: пустая болтовня, призванная подкупить читателя имитацией доверительности. Впрочем, может быть тут есть и задняя мысль: дескать, смотрите, не все меня за подонка держат, есть у меня "один знакомый", и он "милейший человек".

Главное оправдание С.Хмельницкого сводится к тому, что на Синявского и Даниэля он *не донес* — о них он не знал. Как ни странно, это оправдание оборачивается самым страшным самообвинением, какое только можно вообразить: "В одном мне исключительно, сказочно повезло: я до самого судебного финала не знал, что А.Д. и Даниэль секретно публикуются за рубежом", "... я о секретных публикациях на Западе ничегошеньки не знал (... с одной стороны до сих пор обидно, с другой — *счастье-то какое!*). Почему сказочно повезло? Почему счастье? Потому что, если бы знал, то донес бы. Не смог бы устоять: "Очень, слишком, недопустимо сильно мне хотелось тогда жить".

В романе "Спокойной ночи" нет ничего, что бы даже приближалось к этому обвинению, которое С.Хмельницкий возводит на самого себя, не слишком даже понимая, в каком свете он себя выставляет. Можно ли после этого говорить о "кошмароподобной лжи" или "неспровоцированной клевете"? Кошмароподобной — я назвал бы только ту характеристику, которую С.Хмельницкий дает себе сам.

* * *

Последнее недоумение вызвано не "памфлетом" С.Хмельницкого, а редакцией журнала, опубликовавшей его. Неужели руководители журнала "22" не учуяли того, что представляет-

ся очевидным, — провокационный характер текста, вдохновенного органами? Неужели они, уже выпустившие 47 номеров вполне добротного журнала, не догадались, кому и для чего нужна низкая, грязная дискредитация А.Д.Синявского как писателя, бойца и человека? Возможно ли, что умный, интеллигентный член редколлегии Александр Воронель в предисловии к публикации написал слова, которые мне представляются "кошмароподобными": "... сколько бы мы ни осуждали его за Брежнева и Кабо, несомненно остается, что никаких других его грехов мы не знаем. За это преступление он был наказан (где? кем? когда? — Е.Э.). Сам факт наказания выделяет Хмельницкого (из кого? — Е.Э.). (...) И поскольку он свое наказание претерпел, он имеет право высказаться и быть услышанным".

Так мы далеко зайдём. Во-первых, никакого наказания Хмельницкий не претерпел, — разве что в романе "Спокойной ночи" не увековечена его фамилия. А во-вторых, до сих пор нас интересовали высказывания жертв и свидетелей, но как доказательство социальной патологии, а не как свидетельство "другой стороны". Потому что доносчик — это не "другая сторона", а исполнитель.

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ДЖОН БАРРОН "КГБ СЕГОДНЯ"

Большинство наших читателей знакомо с именем Джона Баррона — автора нашумевшей книги "КГБ", переведенной на многие языки мира, в том числе и на русский.

Книга "КГБ сегодня" — новейшее исследование того же автора, рассказывающее о самых зловещих сторонах и тайных пружинах деятельности советской секретной полиции в наши дни.

На примерах подрывной деятельности КГБ в Соединенных Штатах и Японии Джон Баррон рисует широкую картину политического бандитизма, инспирируемого Москвой во всех странах мира.

В книге подробно раскрывается механизм деятельности КГБ. Джон Баррон рассказывает о том,

КАК ДЕЙСТВУЕТ КГБ СЕГОДНЯ — И В СССР, И, ВОСОБЕННОСТИ, ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ,

КАК ГОТОВЯТСЯ КАДРЫ БУДУЩИХ РАЗВЕДЧИКОВ И ВЕРБУЕТСЯ АГЕНТУРА НА ЗАПАДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ СРЕДЫ САМЫХ КРУПНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ,

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КРАЖА ПЕРЕДОВОЙ ЗАПАДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ,

КАК КГБ ВЛИЯЕТ СЕГОДНЯ НА ВНЕШНЮЮ И ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ ЗАПАДНЫХ ГОСУДАРСТВ И О МНОГОМ ДРУГОМ.

Объем книги - 432 страницы. Цена - 22 доллара.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

**Time and We
475 Fifth ave, suite 511-A
New York, New York
10017**

ВНУТРЕННИЙ МИР ХУДОЖНИКА

Когда познакомишься с каталогами работ Ильи Шенкера, с посвященными ему рецензиями, со множеством вырезок из газет и журналов, где идет речь о его выставках, — то никак не скажешь, что обойден он вниманием критики. Много написано о разных периодах его творческой биографии. Много — там, в СССР, где провел большую часть жизни художник. И еще больше здесь, на Западе — о его выставках в галереях Эдуарда Нахамкина, Нью-Йоркского университета, в Нью-Йоркском коллизеуме на "Art. Expo", в венецианской галерее "Грациоси". Каждый из писавших стремился отыскать у Шенкера то, что его выделяло из всех, каждый хотел сказать свое.

Из написанного о советском периоде мы узнаем о его необычайной "русской Одиссее", как исходил и изъездил он пол-России, о его особом творческом почерке и даже о тех, кто оказал влияние на Шенкера, (например, о некогда знаменитом Аристархе Ленгулове и его объединении "Маковец", существовавшем еще в 20-х годах).

Но вот парадокс: может быть, сами того не понимая, советские, а не западные критики подошли ближе всего к пониманию личности художника. В обличительном своем пафосе и на светлом жаргоне соцреализма наклеили они Илье Шенкеру ярлык "эскаписта", что означало "живописец-отшельник", так сказать, отщепенец от общества, от социалистического подхода к искусству. Но если подумать, — он, в сущности таким и был, весь ушедший в себя, в свой внутренний мир, и в этом отшельническом мире — т о л ь к о в н е м ! — а ни в каком не передовом учении (и даже не в традициях Аристарха Ленгулова) черпал он вечный материал для вдохновения.

Он и внешне напоминает отшельника (знаете, из тех, что некогда скинулись по России), человека не от мира сего, вечно погруженного в себя и в свою работу, и в свою, малопонятную окружающим и в чем-то мистическую, жизнь. Он не просто живет, а несет свой крест со всем,

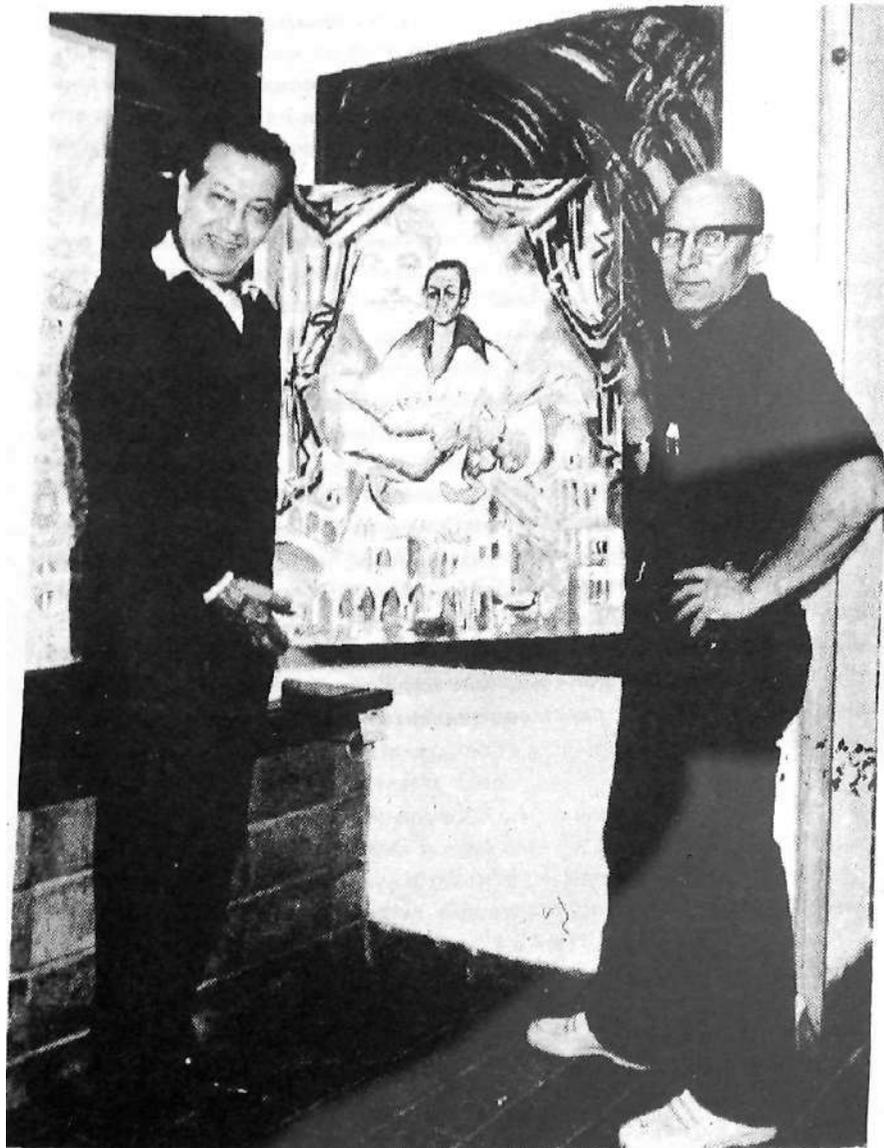
что при этом положено: муками, срывами, неудачами, озарениями. Похоже, он многое может вынести: и нужду, и невнимание галерейщиков, и даже неприятие критики, — но только чтоб не мешали ему работать (такое не прощается никому: ни домашним, ни приятелям, ни поклонникам) — так вот, чтобы не мешали работать и не вторгались на его "суверенную территорию", именуемую "внутренним миром" художника."

Как родились неповторимые лирические пейзажи Шенкера с полузаброшенными монастырями, старыми мельницами, живописными русскими церквями, с его еврейскими местечками и их героями, перекочевавшими из книг Шолом-Алейхема? Как создавал он свои цветные литографии, свои удивительные фантазии на тему русского балета — балета Нуриева, Барышникова, Макаровой, Плисецкой, Годунова? Он отрывает их от сцены и пораженные фантазией художника видим мы их летящими над соборами Венеции, над Дворцовой площадью старого Петербурга, над церковными куполами в Кижях, на Онежском озере.

Или вот пушкинский цикл художника: "Пушкин в Одессе", как назвал его сам Илья Шенкер. И насколько же он необычен, этот шенкеровский Пушкин: лукавый, насмешливый, ироничный — ни дать ни взять, тот самый, которого открыл нам Синявский в его волшебных "Прогулках с Пушкиным"

Все это рождено на той упомянутой нами выше, "автономной территории" художника, где — ох, как мало можно понять, сообразуясь с логикой, — но где нет границ для таланта и фантазии мастера.

В. ПЕТРОВСКИЙ



Сергей Лефарь и Илья Шенкер возле картины, посвященной Сергею Лефарю.



Итак, я жил тогда в Одессе



Утро



Градоначальник Гурьев.



В опере



Площадь.



Тесто на утро,



Скрипач на крыше.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

РЭЙМОНД ЧАНДЛЕР — см. журнал № 90

ВЛАДИМИР МАТЛИН — родился в 1931 году. Окончил юридический факультет МГУ. Семнадцать лет работал редактором и сценаристом на киностудии "Центрнаучфильм". По сценариям Матлина снято около десяти короткометражных фильмов. С 1975 года работает на радиостанции "Голос Америки". Публикуется в русскоязычной и англоязычной печати.

МИХАИЛ КРЕПС — см. журнал № 87

А. ЧЕРНОВ — стихи пришли по каналам самиздата.

ВЕРА ВИРЕН-ГАРЧИНСКАЯ — родилась и выросла во Франции. В Америке с 1949 года. Окончила Бруклинский колледж и Колумбийский университет. Защитила докторскую диссертацию по славистике. В настоящее время — профессор славистики и советологии Сити-колледжа (Нью-Йоркский городской университет). Автор четырех книг по русской и советской литературе. Вице-президент Всемирной ассоциации по культурным связям, куда входят 67 стран.

БОРИС ПАРАМОНОВ — философ, публицист. Родился в 1937 году, в Ленинграде. Окончил Ленинградский университет и преподавал в нем историю философии. В 1974 году был уволен и вынужден был эмигрировать. За границей постоянно печатается в многочисленных русских и западных изданиях, опубликовал несколько статей по-английски и по-итальянски.

ПИТЕР РЕДДАВЭЙ — см. предисловие к интервью.

БОРИС ШРАГИН — см. журнал № 90

ИЛЬЯ СУСЛОВ — родился в 1933 году. В СССР работал в журналах "Юность", "РТ", а с 1963 по 1973 год редактировал "Клуб 12-ти стульев" в "Литературной Газете". В 1974 году эмигрировал в Америку, с 1976 — работал на радиостанции "Голос Америки", сейчас редактор русского отдела журнала "Америка". Много печатается в американской и русскоязычной печати, автор повести "Прошлогодний снег" и ряда других книг, вышедших в США.

ДЖОН ГЛЭД — профессор Мэрилендского университета. Специалист в области советологии, русского языка и литературы. Заведовал институтом Кеннана по изучению России. Автор многих книг и статей. Его перевод "Колымских рассказов" Шаламова завоевал премию как один из лучших художественных переводов Америки за 1980 год. За свои славистские и переводческие работы Джон Глэд удостоен приза Гугенхайма за 1985 год.

ЭЛЕН ПЕЛЬТЬЕ (ныне **ЭЛЕН ЗАМОЙСКА**) — профессор русской литературы в университете Тулузы. С конца 1947 года и до весны 1950-го училась на филфаке МГУ. В 1956 году Элен Пельтье увезла первые рукописи Андрея Синявского из Москвы на Запад

ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ — профессор университета в Индиане, крупный специалист по истории Средней Азии. Родился в 1925 году. Участник Второй мировой войны. По окончании войны, в 1945 году, поступил на истфак МГУ. В 1949 году по доносу Хмельницкого был арестован и приговорен к десяти годам лагерей. В 1954 году вышел из заключения и в 1956 году окончил МГУ. В 1961 году защитил диссертацию. До эмиграции работал в издательстве Восточной литературы АН СССР, затем в институте востоковедения. Эмигрировал в январе 1974 года. С 1974 по 1981 год был профессором Иерусалимского университета. С 1981 года живет в США.

ОЛЬГА ЛЕВЕНСОН — врач-патолог. Кандидат медицинских наук. После окончания медицинского института работала в Средней Азии. В последние годы была заведующей патолого-анатомическим отделением Яузской городской больницы в Москве. Эмигрировала в Соединенные Штаты в 1986 году.

ЕФИМ ЭТКИНД — Писатель, литературовед, переводчик и критик. Во время войны воевал на Карельском и Третьем Украинском фронтах. До отъезда из СССР — член Союза Писателей. После войны преподавал в ленинградских вузах, был профессором Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена. В настоящее время живет в Париже, выступает с лекциями в ряде Западных университетов. Под редакцией Е.Г. Эткинда впервые на французском языке вышли поэтические переводы А.С. Пушкина. Под его же редакцией готовятся переводы М.Ю. Лермонтова. Широко известна его книга "Записки незаговорщика", посвященная судьба творческой интеллигенции в СССР.

Digest for the 91st issue of *Vremya i my* (Time and We)

RAYMOND CHANDLER. "Trouble is My Business." (See issue No. 90.)

VLADIMIR MATLIN. "The birth of communal appartments." An anti-Utopia from the series "America under Communism." The tragedy of an American family is revealed, after the coming to power of the so called 'People's Councils/ The author paints a colorful picture of social deterioration and impoverishment.

WERA WIREN-GARCZNSKI. "Interviews in Moscow." The author is a professor of Slavic studies at the City University of New York, who having returned from the USSR acquaints the readers with the results of a 66 people interview in Moscow; their opinions about Gorbachev and his policies, their attitudes toward the United States and Reagan, their views on the future of Soviet American relations, etc.

BORIS PARAMONOV "Margaret Mitchell and the 'Russian Renaissance.'" The author analyzes the associations aroused in the Russian reader by Margaret Mitchell's "Gone with the Wind." In the article it is shown how the ideas of the book echo the ideas of Neo-Slavism and provoke anti-Soviet feelings and moods.

WHOSE FAULT IS IT? A discussion of Gregory Swirsky's novel "The Breakthrough." The theme of the novel — the problems of Jewish emmigration from the USSR.

PETER REDDAWAY. "Soviet politics, dissidents, and emmigration." Boris Shragin is interviewing the director of the Kennan Institute in Washington. The interview is published under the heading "Outstanding Americans on democracy and totalitarianism." Peter Reddaway discusses the intensification of Soviet repression of dissidents and the perspectives of new emmigration from the USSR.

ILYA SUSLOV "Censorship, 'The Club of the Twelve Chairs' and more." Ilya Suslov, who was the editor of the humor section in the "Literaturnaya Gazietta," is interviewed by John Glad, a professor at Maryland University. The main theme — political censorship and the status of writers in the USSR.

THE EDITOR'S POINT OF VIEW: An review of the Russian language journals "22" and "Syntaxis"; their main topics and works, their political and ethical standpoints.

Yael DAYAN. The last two years. An excerpt from the book of memoires by Moshe Dayan's daughter about the last two years of his life.

"SORRY FOR INFORMATION ON YOU." A discussion of the pamphlet written by Sergei Khmelnitzki, who as he himself confess was a KGB informer ("From the Whale's Maw") against the prominent Russian author Andrei Sinyavski. The pamphlet was published in journal "22." The authors of "Vremya i my" are strongly opposed to the pamphlet believing it to be slander against Sinyavski.

On the cover: A collage by Vagrigh Bakchchanyan "America under Communism," based on the story of Vladimir Maltin "The birth of communal appartments."

панорама

**The largest independent
American Russian publication**

крупнейшее независимое еженедельное издание
на русском языке

Издаётся с 1980 года в Лос-Анджелесе

Главный редактор А. Половец

ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ ГАЗЕТЫ:

ГЛОБУС. Обзор и комментарии к событиям международной и внутренней жизни.

ПУБЛИЦИСТИКА. В числе постоянных авторов газеты — обозреватель телевизионных программ АВС, бывший руководитель Информационной службы правительства США Б. Хершензон, известные журналисты русского зарубежья Т. Шуман /Лос-Анджелес/, П. Вайль, А. Ганис, С. Давлатов, В. Козловский, Б. Лерамонов, М. Поповский, Григорий Рыскин /Нью-Йорк/, М. Лемхин /Сан-Франциско/, Д. Савицкий /«Европейская хроника»/, В. Лазарис, Ю. Шаргородский, Э. Копелиович /Израиль/.

ЛИТЕРАТУРА. В «Панораме» впервые публиковались отдельные произведения Василия Аксенова, Юзы Алешковского, Эдуарда Лимонова, Саши Соколова, Льва Халифа и ряда других писателей и журналистов, живущих в США и других странах.

ГОЛЛИВУД. Рецензии на новые фильмы и театральные постановки, интервью с работниками театра и кино, обзоры событий в кинематографе США и других стран.

ЮМОР. В этом разделе публикуются произведения авторов, пишущих на русском языке, а также переводы юмористических и сатирических произведений с других языков.

«Панорама» имеет постоянные представительства
в Сан-Франциско и Нью-Йорке.

Стоимость годовой подписки в США и Канаде — 33.00, полугодовой — 18.00 дол.
Для оформления подписки необходимо заполнить приводимый ниже купон и выслать его в адрес издательства «Альманах»:

ALMANACH, P. O. Box 480264, Los Angeles, Ca 90048, USA

Прошу подписать на меня газету «Альманах-ПАНОРАМА» на срок... 12 мес./33.00 дол./
...6 мес./18.00

В Европе, Израиле и Австралии стоимость годовой подписки — 64.00 дол.

Чек /мони-ордер/ на сумму дол. прилагаю.

Газету прошу направлять по адресу:

Имя

Телефон:

Номер дома Улице

Город

Штат Зип-код

панорама

American
Russian
weekly

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ТЕАТР АБСУРДА

Комедийно-философское повествование о
моих двух эмиграциях. Опыт антимаемуаров

СОДЕРЖАНИЕ:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль; Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-Йорк; "Свободный мир"; Мой иностранный паспорт; Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП "АВРОРЫ"

Инженер Сэм Житницкий: "Оплот Израиля"; Мы жили... Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ. 62

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал; Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука — жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака плывут, облака

Книгу можно заказать в редакции "Время и мы":

"Time and We" 475 Fifth ave, room 511-A
New York, New York, 10017

Цена книги 10 долларов.

В книге 254 стр.

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" — 1986

УСТАНОВЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИИ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 48 долларов; с целью экономической поддержки редакции — 55 долларов; для библиотек — 69 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу:

"TIME AND WE"

409 Highwood Ave, Leonia, NJ 07605. USA. Tel: (201) 592 6155

Цена в розничной продаже — 12 долларов

Стоимость подписки в Израиле устанавливается израильским отделением журнала "Время и мы". Заказы и чеки высылать по адресу отделения: Иерусалим, Талпиот Мизрах, 422/6 (зав. отделением Дора Штурман-Тиктина).

Подписка из Франции, Германии и других стран мира может осуществляться как через главную редакцию в Нью-Йорке; так и через представителей журнала.

При подписке в главной редакции чеки высылаются только в американских долларах (т.е. это должны быть чеки американских банков или иностранных банков, имеющих в Нью-Йорке отделения).

При подписке через представителей журнала (или его отделения) стоимость подписки:

— во Франции — 450 франков; для библиотек — 650; с целью экономической поддержки журнала — 650 франков;

— в Германии — 150 немецких марок; для библиотек — 200; с целью экономической поддержки журнала — 200 марок.

Подписка авиапочтой — 96 долларов.

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" — 1986

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия

Имя

Адрес

Подписной период

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы" на год. Высылать с номера Журнал высылать обычной /авиа/ почтой по адресу

Подпись

Примечание редакции: чек выписывается по-английски на имя журнала "Время и мы" /Time and We/.

Из Германии, Англии, Франции и других стран чеки могут высылаться либо непосредственно по адресу главной редакции, либо в адрес представителей журнала.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылается по адресу: "Time and We"

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, N J 07605, USA
TEL: (201) 592 6155

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

MAIN OFFICE: 409 Highwood Ave, Leonia, NJ 07605. USA
Tel: (201) 592 6155

OCR и вычитка — Давид Титиевский, июнь 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

Набор на композере Аллы Маневич.

**На первой странице обложки: коллаж Вагрича Бахчаняна
"Америка при коммунизме".**

**На четвертой странице обложки :
Илья Шенкер "Свадьба на Молдаванке"**

